VLADIMIR ILYICH LENIN

a poem

by V. MAYAKOVSKY

Владимир МАЯКОВСКИЙ

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
ЛЕНИН

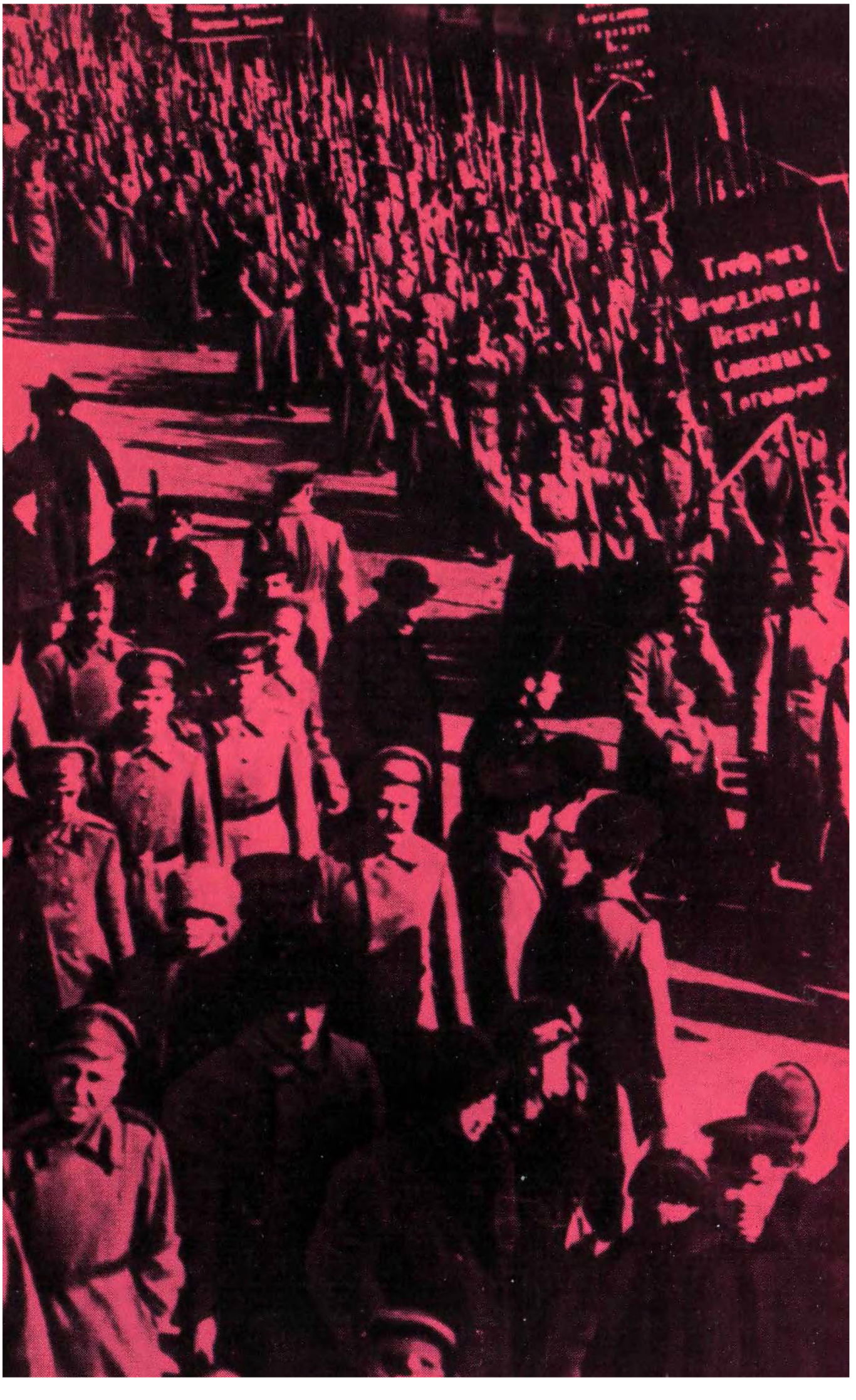
Издательство Прогресс

Москва

Vladimir MAYAKOVSKY

VLADIMIR ILYICH
LENIN

Progress Publishers
Moscow



Российской
коммунистической партии
посвящаю

To the Russian
Communist Party
I dedicate this poem

ВРЕМЯ —
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более.
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною
осознанною болью.
Время,
снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слёзной лужею, —
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье —
сила
и оружие.

THE TIME HAS COME.
I begin
the story of Lenin.
Not
because the grief
is on the wane,
but because
the bitter anguish
of that moment
has become
a clear-cut,
weighed and fathomed pain.
Time,
speed on,
spread Lenin's slogans in your whirl!
Not for us
to drown in tears
whatever happens.
There's no one
more alive
than Lenin in the world,
our strength,
our wisdom,
surest of our weapons.

ЛЮДИ — ЛОДКИ.
Хотя и на суше.
Проживёшь
своё
пока,
много всяких
грязных раку́шек
налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозлённую,
сядешь,
чтобы солнца близ,
и счищаешь
водорослей
бороду зелёную
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.

PEOPLE
are boats,
although on land.
While life
is being roughed
all species
of trash
from the rocks and sand
stick
to the sides of our craft.
But then,
having broken
through the storm's mad froth,
one sits
in the sun
for a time
and cleans off
the tousled seaweed growth
and oozy
jellyfish slime.
I
go to Lenin
to clean off mine
to sail on
with the revolution.

Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.

I fear
these eulogies
line upon line
like a boy
fears falsehood and delusion.
They'll rig up an aura
round any head;
the very idea—
I abhor it,
that such a halo
poetry-bred
should hide
Lenin's real,
huge,
human forehead.
I'm anxious that rituals,
mausoleums
and processions,
the honeyed incense
of homage and publicity
shouldn't
obscure
Lenin's essential
simplicity.
I shudder
as I would
if condemned to die
lest Lenin
be falsified
by tinsel beauty.

Голосует сердце —
я писать обязан
по мандату долга.

★

Вся Москва.
Промёрзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами
обмороженные с ночи.
Что он сделал!
Кто он
и откуда!
Почему
ему
такая почесть!
Слово за́ словом
из памяти таская,
не скажу
ни одному —
на место сядь.
Как бедна
у мира
сло́ва мастерская!
Подходящее
откуда взять!
У нас
семь дней,
у нас
часов — двенадцать.
Не прожить
себя длинней.

Write!—
votes my heart,
commissioned by
the mandate
of duty.

★

All Moscow's
frozen through,
yet the earth quakes with emotion.
Frostbite
drives its victims
to the fires.
Who is he!
Where from!
Why this commotion!
Why such honours
when a man expires!
Dragging word by word
from memory's coffers
won't suit either me
or you who read.
Yet what a meagre choice
the language-workshop offers!
Where to get
the very words we need!
We've
seven days
to spend,
twelve hours
for diverse uses.
Life must begin—
and end.

Смерть
не умеет извиняться.
Если ж
с часами плохо,
мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».
Мы
спим
ночь.
Днём
совершаем поступки.
Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.
А если
за всех смог
направпять
потоки явлений,
мы говорим —
«пророк»,
мы говорим —
«гений».

Death won't accept
excuses.
But if
it's no more
a matter of hours,
If the calendar measure
falls short,
"Epoch"
is a usual
comment of ours,
"Era" or something
of the sort.
We
sleep
at night,
busy
around
by day,
each grinds his water
in his own pet mortar
and so
fritters life away.
But if,
single-handed,
somebody can
turn the tide
to everyone's profit
we utter
something
like "Superman",
"Genius"
or "Prophet".

У нас
претензий нет, —
не зовут —
мы и не лезем;
нравимся
своей жене,
и то
довольны донельзя.
Если ж,
телом и духом слит,
прёт
на нас непохожий,
шпилим —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».
Скажут так, —
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как дымы.
Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.
Ни рукам
ни голове не ощутимы.
Как же
Ленина
таким аршином мерить!
Ведь глазами
видел
каждый всяк —

don't ask much of life,
won't budge an inch
unless required,
to please
the wife
is the utmost
to which we'll aspire.
But if,
monolithic
in body and soul,
someone
unlike us
emerges,
we discover
a god-like aureole
or appendages
equally gorgeous.
Tags and tassels
laid out on shelves,
neither silly
nor smart—
no weightier than smoke.
Go
scrape meaning
out of such shells—
empty as eggs
without white or yolk.
How, then, apply
such yardsticks to Lenin
when anyone could see
with his very own eyes:

«эра» эта
проходила в двери,
даже
головой
не задевая о косяк.
Неужели
про Ленина тоже:
«вождь
милостью божьей»!
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберёг,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперёк.
Я б
нашёл
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,

that "era"
cleared doorways
without even bending,
wore jackets
no bigger
than average size.
Should Lenin, too,
be hailed by the nation
as "Leader
by Divine Designation"!
Had he
been kingly or godly indeed
I'd never spare myself,
on protest bent;
I'd raise a clamour
in hall and street
against the crowds,
speeches,
processions
and laments.
I'd find
the words
for a thundering condemnation,
and while
I'd be trampled on,
I and my cries,
I'd bomb
the Kremlin
with demands
for resignation,

по Кремлю бы
бомбами
метал:
д о л о й!
Но тверды
шаги Дзержинского
у гроба.
Нынче бы
могла
с постов сойти Чека.
Сквозь мильоны глаз,
и у меня
сквозь оба,
лишь сосульки слёз,
примёрзшие
к щекам.
Богу
почести казённые
не новость.
Нет!
Сегодня
настоящей болью
сердце холодей.
Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей.
Он земной,
но не из тех,
кто глазом

hurling
blasphemy
into the skies.
But calm
by the coffin
Dzerzhinsky[1]
appears.
Today
he could easily
dismiss
the guard.
In millions of eyes
shines nothing
but tears,
not running down cheeks,
but frozen hard.
Your divinity's decease
won't rouse a mote of feeling.
No!
Today
real pain
chills every heart.
We're burying
the earthliest
of beings
that ever came to play
an earthly part.
Earthly, yes;
but not the grovelling kind

упирается
в своё корыто.
Землю
всю
охватывая разом,
видел
то,
что временем закрыто.
Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинят кожей,
да насмешливей
и твёрже губы,
чем у нас.
Не сатрапья твёрдость,
триумфаторской коляской
мнущая
тебя,
подёргивая вожжи.
Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа твёрже.

who'll never peer
beyond the precincts of their sty.
He took in
all the planet
at a time,
saw things
out of reach
for the common eye.
Though like you and I
in every detail,
his forehead rose
a taller,
steeper tower;
the thought-dug wrinkles
round the eyes
went deeper,
the lips looked firmer,
more ironical
than ours.
Not the satrap's firmness
that'll grind us,
tightening the reins,
beneath a triumph-chariot's wheel.
With friends
he'd be
the very soul of kindness,
with enemies
as hard
as any steel.

Знал он
слабости,
знакомые у нас,
как и мы,
перемогал болезни.
Скажем,
мне бильярд —
отращиваю глаз,
шахматы ему —
они вождям
полезней.
И от шахмат
перейдя
к врагу натурой,
в люди
выведя
вчерашних пешек строй,
становил
рабочей — человечьей диктатурой
над тюремной
капиталовой турой.
И ему
и нам
одно и то же дорого.
Отчего ж,
стоящий
от него поодаль,
я бы
жизнь свою,
глупея от восторга,
за одно б
его дыханье
отдал!!

He, too,
had illnesses
and weaknesses
to fight
and hobbies
just the same as we have,
reader.
For me it's billiards, say,
to whet the sight;
for him it's chess—
more useful
for a leader.
And turning
face about
from chess
to living foes,
yesterday's dumb pawns
he led
to a war of classes
until a human,
working-class dictatorship
arose
to checkmate Capital
and crush its prison-castle.
We and he
had the same ideals to cherish.
Then why is it,
no kin of his,
I'd welcome death,
crazy with delight,
would gladly perish
so that he might draw
a single breath!

Да не я один!
Да что я
лучше, что ли!!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас
из сёл,
из кожи вон,
из штолен
не шагнёт вперёд!!
В качке —
будто бы хватил
вина и горя лишку —
инстинктивно
хоронюсь
трамвайной сети.
Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре
вот этой
безграничной смерти!
Со знамёнами идут,
и так.
Похоже —
стала
вновь
Россия кочевой.
И Колонный зал
дрожит,
насквозь прохожен.
Почему!

And not I alone.
Who says I'm better than the rest!
Not a single soul of us,
I reckon,
in all the mines
and mills
from East
to West
would hesitate
to do the same
at the slightest beckon.
Instinctively,
I shrink
from tram-rails
to quiet corners,
giddy
as a drunk
who sees the lees.
Who would mind
my puny death
among these mourners
lamenting
the enormousness
of his decease!
With banners
and without,
they come,
as if all Russia
had again
turned nomad for a while.
The House of Unions[2]
trembles with their motion.
What can be the reason!

Зачем
и отчего!
Телеграф
охрип
от траурного гуда.
Слёзы снега
с флажьих
покрасневших век.
Что он сделал,
кто он
и откуда —
этот
самый человечный человек!

★

Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.
Слышите —
железный
и лужёный,

Why!
Snow-tears
from the flags' red eyelids
run.
The telegraph's gone hoarse
with humming mournful rumours.
Who is he!
Where from!
What has he done,
this man,
the most humane
of all us humans!

★

Ulyanov's short life
is well known
to men in
every country
among every race.
But the longer biography
of Comrade Lenin
has still
to be written,
rewritten
and retraced.
Far,
far back,
two hundred years or so,
the earliest beginnings
of Lenin go.
Hear those brazen,
peremptory tones

прорезая
древние века, —
голос
прадеда
Бромлея и Гужона —
первого паровика!
Капитал
его величество,
некоронованный,
невенчанный,
объявляет
покорённой
силу деревенщины.
Город грабил,
грёб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвивая трубы за́ небо:
— Нами
к золоту
пути мости́те.
Мы родим,
пошлём,
придёт когда-нибудь
человек,
борец,

with their century-piercing motif!
It's the grandfather
of Bromley's and Goujon's,[3]
the first
steam locomotive.
Capital,
His Majesty,
uncrowned,
as yet unknown,
declares
the gentry's power
overthrown.
The city pillaged,
plundered,
pumped
gold
into the bellies
of banks,
while at the workbenches,
lean and humped,
the working class
closed ranks.
And already threatened,
rearing smokestacks
to the sky,
"Pave your way with us
to fortunes,
grip us tighter!
But remember:
he is coming,
he is nigh,
the Man,
the Champion,

мститель! —
И уже
смешались
облака и ды́мы,
будто
рядовые
одного полка.
Небеса
становятся двойными,
дымы
забивают облака.
Товары
растут,
меж нищими высясь.
Директор,
лысый чёрт,
пощёлкал счётами,
буркнул:
«кризис!»
и вывесил слово
«расчёт».
Кра́пило
сласти
мушиное се́ево
хлеба́
зерном
в элеваторах портятся,
а под витринами
всех Елисеевых,
живот подведя,
плелась безработица.

the Avenger,
the Fighter!"
And already
smoke and clouds
get mixed together
as when mutineers
turn orderly detachments
into crowds,
until
the tokens of a storm
begin to gather—
the sky brews trouble—
ugly smoke invades the clouds.
'Mid beggars
a mountain of goods arises.
The manager,
bald beast,
flips his abacus,
blurts out "crisis!"
and pins up a list:
"DISMISSED: . . . ."
Fly-blown
pastries
in dustbins found graves,
grain—
in granaries
with mildew cloyed,
while past
the windows
of Yeliseyev's,[4]
belly caved in,
shuffled unemployed.

И бурчало
у трущоб в утробе,
покрывая
детвориный плачик:
— Под работу,
под винтовку ль,
на —
ладони обе!
Приходи,
заступник
и расплатчик! —

★

Эй,
верблюд,
открыватель колоний!
Эй,
колонны стальных кораблей!
Марш
в пустыни
огня раскалённей!
Пеньте пену
бумаги белей!
Начинают
чёрным латáться
оазисы
пальмовых нег.
Вон
среди
золотистых плантаций
засеченный
вымычал негр:

And the call
came rumbling
from shack and slum,
covering
the whimper of kiddies:
"Come, protector!
Redressor,
come!
And we'll go
to battle
or wherever you bid us!"

★

Hey,
camel,
discoverer of colonies!
Ahoy,
caravans
of steel-hulled ships!
March through the desert,
sunsets following,
cleave through the billows
on east-bound trips!
Shadows
of ominous
ugly black
start patching the sky
over sun-kissed oases.
Hear the Negro
with whip-lashed back
muttering
among the bananas and maizes:

— У-у-у-у-у,
у-у-у!
Нил мой, Нил!
Приплещи
и выплещи
чёрные дни!
Чтоб чернее были,
чем я во сне,
и пожар чтоб
крови вот этой красней.
Чтоб во всём этом кофе,
враз вскипелом,
вариться пузатым —
чёрным и белым.
Каждый
добытый
слоновий клык —
тык его в мясо,
в сердце тык.
Хоть для правнуков,
не зря чтоб
кровью литься,
выплыви,
заступник солнцелицый.
Я кончаюсь, —
бог смертей
пришёл и поманил.
Помни
это заклинанье,
Нил,
мой Нил! —
В снегах России,
в бреду Патагонии

"Oo-oo,
oo-oo,
Nile, my Nile!
Splash up a day
like a crocodile,
let it be blacker
than I at night
with fire
like my blood,
as red
and as bright,
for the fattest bellies
both white
and black
to fry and sizzle,
to split and crack!
Each
and every
ivory tusk
hack and poke them
from dawn to dusk.
Don't let me bleed in vain—
if only for descendants
come,
O Sun-Faced,
deal out justice and defend us!
I'm through;
the God of deaths won't wait—
I've lived my while.
Mind my incantation,
Nile, my Nile!"
From snow-bound Russia
to sun-scorched Patagonia

расставило
время
станки потогонные.
У Ива̀нова уже
у Вознесенска
каменные туши
будоражат
выкрики частушек:

«Эх, завод ты мой завод,
желтоглазина.
Время нового зовёт
Стеньку Разина».

★

Внуки
спросят:
— Что такое капиталист? —
Как дети
теперь:
— Что это
г-о-р-о-д-о-в-о-й!.. —
Для внуков
пишу
в один лист
капитализма
портрет родовой.
Капитализм
в молодые года
был ничего,
деловой парнишка:
первый работал —
не боялся тогда,

mechanical sweat-mills
went grinding
and groaning.
In Ivanovo-Voznesensk,[5]
the loom-twirling city,
brickwork
mammoths
shook with the ditty:

"Cotton-mill, my cotton-mill,
Gins and looms a-buzzin',
It's time, high time he came along,
Another Stenka Razin!"[6]

★

Grandsons will ask,
"What does Capitalism mean!"
just as kiddies
today,
"What's a Gendarme, Dad!"
So here's
capitalism
as then he was seen,
portrayed
for grandsons
full-size in my pad.
Capitalism
in his early years
wasn't so bad—
a business-like
fellow.
Worked like blazes—
none of those fears

что у него
от работ
засалится манишка.
Трико феодальное
ему тесно!
Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвёл
и даже
подпевал «Марсельезу».
Машину
он
задумал и выдумал.
Люди,
и те — ей!
Он
по вселенной
видимо-невидимо
рабочих расплодил
детей.
Он враз
и царства
и графства сжевал
с коронами их
и с орлами.
Встучнел,
как библейская корова
или вол,
облизывается.

that his snowy cravat
would soil
and turn yellow.
Feudal tights
felt too tight
for the youngster;
forged on
no worse
than we do these days;
raised revolutions
and
with gusto
joined his voice
in the "Marseillaise".
Machines he spawned
from his own smart head
and put
new slaves
to their service:
million-strong broods
of workers
spread
all over
the world's surface.
Whole kingdoms
and counties
he swallowed at a time
with their crowns
and eagles
and suchlike ornaments,
faffening up
like the biblical kine,
licking his chops,

Язык — парламент.
С годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух,
такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.
Дворец возвёл —
не увидишь такого!
Художник
— не один! —
по стенам поёрзал.
Пол ампиристый,
потолок рококóвый,
стенки —
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей,
задолицая
полиция.

his tongue—
parliament.
But weaker
with years
his limb-steel became,
he swelled up
with leisure and pleasure,
gaining in bulk
and weight
the same
as his own
beloved ledger.
He built himself palaces
ne'er seen before.
Artists—
hordes of 'em—
went through their chores.
Floors—
à l'Empire,
ceilings—
Rococo,
walls—
Louis XIV,
Quatorze.
Around him
with faces
equally fit
to be faces
and the places
on which they sit,
keeping the peace,
stood buttock-faced
police.

И краске
и песне
душа глуха,
как корове
цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прочая чепуха —
просто —
его
женская прислуга.
Его
и рай
и преисподняя —
распродаёт
старухам
дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб

His soul
to song
and to colour insensate—
like a cow
in a meadow abloom with flowers—
ethics
and aesthetics
his domestic utensils
to be filliped with
in idyllic hours.
Inferno and paradise
both his possession,
he sells to old dames
whose faculties fail
nail-holes from the Cross,
if so I may mention,
and feathers
from the Holy Spirit's
tail.
But finally
he too
outgrew himself
living
off the blood and sweat
of the people.
Just guzzling,
snoozing
and pocketing pelf,
Capitalism
got lazy and feeble.
All blubber,
he sprawled
in History's way,

и лёг
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход —
взорвать!

★

Знаю,
лирик
скривится горько,
критик
ринется
хлыстиком выстегать:
— А где ж душа!!
Да это ж —
риторика!
Поэзия где ж!
Одна публицистика!! —
Капитализм —
неизящное слово,
куда изящней звучит —
«соловей»,
но я
возвращусь к нему
снова и снова.
Строку
агитаторским лозунгом взвей.
Я буду писать
и про то
и про это,

no
getting over
or past him.
So snug
in his world-wide
bed
he lay,
the one way out
was to blast him.

I know,
your critics'll
grip their whipsticks,
your poets'll go hysteric:
"Call that poetry!
Sheer publicism.
No feeling,
no nothing—
just bare rhetoric!"
Sure,
"Capitalism" rings
not so very elegant;
"Nightingale"
has a far more delicate sound.
Yet I'll go back to it
whenever relevant.
Let stanzas
like fighting slogans resound!
I've never
been lacking in topics—
you know it,

но нынче
не время
любовных ляс.
Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.
Пролетариат —
неуклюже и узко
тому,
кому
коммунизм — западня.
Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мёртвых
сражаться поднять.

★

Этажи
уже
заёжились, дрожа,
клич подвалов
подымается по этажам:
— Мы прорвёмся
небесам
в распахнутую синь
Мы пройдём
сквозь каменный колодец.

but now's
no time
for lovesick tattle.
All
my thundering power of a poet
is yours,
my class
waging rightful battle!
"Proletariat"
seems
too clumsy for using
to those
whom communism
throws into a fright.
For us, though,
it sounds
like mighty music
that'll rouse
the dead
to get up
and fight.

★

Sumptuous mansions
huddle closer, shivering.
Up their storeys
goes the cry of basements, quivering:
"We'll break free
into the sky's
wide-open blue,
out
of the abysmal stone blind alley.

Будет.
С этих нар
рабочий сын —
пролетариатоводец. —
Им
уже
земного шара мало.
И рукой,
отяжелевшей
от колец,
тянется
упитанная
туша капитала
ухватить
чужой горлéц.
Идут,
железом
клацая и лацкая.
— Убивайте!
Двум буржуям тесно! —
Каждое село —
могила братская,
городá —
завод протезный.
Кончилось —
столы
накрыли чайные.
Пирогом
победа на столе.
— Слушайте
могил чревовещание,
кастаньеты костылей!

He will come—
a worker's son all through,
a leader yet unborn,
the proletariat to rally."
Look,
the world's already small for Capital's ambition;
with his billion-dollar
diamond-studded hands,
doomed
to dream of gain
until perdition,
Capital
goes grabbing other lands.
Off they march,
in clashing steel,
athirst for pillage.
"Kill!"
they shriek;
two moneybags must come to clutches.
Soldiers' graveyards
blot out every village,
each town
becomes a workshop
making crutches.
When it's over
they lay their tables,
unfinicky.
Victory's
the cake they carve and share.
But—
hearken to the burial mounds' ventriloquy,
to the castanets of bones
picked clean and bare.

Снова
нас
увидите
в военной яви.
Эту
время
не простит вину.
Он расплещется,
придёт он
и объявит
вам
и вашинской войне
войну! —
Вырастают
на земле
слезы́ озёра,
слишком
непролазны
крови топи.
И клонились
одиночки фантазёры
над решением
немыслимых утопий.
Голову
об жизнь
разбили филантропы.
Разве
путь миллионам —
филантропов тропы!
И уже
бессилен
сам капиталист,

"You will see us once again
in war reality.
Time will not forgive
the bloody crime.
He is coming—
sage and leader—
to declare
war on you,
to end war for all time."
Lakes of tears
spread out
to flood the globe.
All too deep
grow blood-mires,
all too copious.
Till at last
lone day-dreamers
began to probe
the probabilities
of fancy-bred utopias.
But—
philanthropists—
they got their brain-pans cracked
against the adamantine rock
of actual fact.
How could
footpaths
blazed by random spurts of brilliance
serve as thoroughfares
for all the suffering millions!
Now Capitalism
himself,
the blundering thief,

так
    его
        машина размахалась, —
строй его
            несёт,
                как пожелтелый лист,
кризисов
          и забастовок хàос.
— В чей карман
                стекаем
                    золотою лавой!
С кем идти
              и на кого пенять! —
Класс миллионоглавый
напрягает глаз —
                себя понять.

★

Время
        часы
            капитала
                кра́ло,
побивая
          прожекторов яркость.
Время
        родило
              брата Карла —
старший
          ленинский брат
                Маркс.
Маркс!
        Встаёт глазам
                седин портретных рама.

can't tame it,
so his machine's wild tempo rises.
His system's carried
like a yellow
wilted leaf
over the giddy ups and downs
of strikes and crises.
What to make
of all this
gold-fed circus,
whom to blame
and on whose side
to stand!
The million-headed,
million-handed
class of workers
strains its brains
itself to understand.

★

Capital's days
were eroded and gnarled
by time
like steel is
by electric arcs,
till time
gave birth
to a man named Karl—
Lenin's
elder brother Marx.
Marx!
His portrait's grey-framed sternness
grips one.

Как же
жизнь его
от представлений далека!
Люди
видят
замурованного в мрамор,
гипсом
холодеющего старика.
Но когда
революционной тропкой
первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс
и мысль свою зажёг!
Будто сам
в заводе каждом
стоя сто́ймя,
будто
каждый труд
размозоливая лично,
грабящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,

But what a gulf
between impressions
and his life!
What we see
immured in marble
or in gypsum
seems a cold old man
long since past care and strife.
But when the workers took—
uncertain yet in earnest—
the first short steps
along their revolutionary path,
into what a giant,
blazing furnace
Marx
fanned up his mind and heart!
As if he'd drudged whole shifts
in every factory
himself
and,
callousing his hands,
each tool and job had handled,
Marx caught
the pilferers
of surplus value
with their pelf,
red-handed.
While others quailed,
eyes dropped too low
in awe
to peer up
even as high
as a profiteer's umbilicus,

Маркс
повёл
разить
войною классовой
золотого
до быка
доросшего тельца́.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны:
только
волны случая
закинут
нас
юля́.
Маркс
раскрыл
истории законы,
пролетариат
поставил у руля.
Книги Маркса
не набора гранки,
не сухие
цифр столбцы —
Маркс
рабочего
поставил на́ ноги
и повёл
колоннами
стройнее цифр.
Вёл
и говорил: —
сражаясь лягте,
дело —

Marx undertook
to lead the proletariat
into class war
to slay the golden calf,
by then a bull,
immense and bellicose.
Into the bay of communism,
still fogged
with blinding mystery,
we thought
the waves of chance alone
could bring us
from our hell.
Marx
disclosed
the deepest
laws of history,
put
the proletariat
at the helm.
No,
Marx's books
aren't merely print and paper,
not dust-dry manuscripts
with dull statistic figures.
His books
brought order
to the straggling ranks of labour
and led them forward,
full of faith and vigour.
He led them
and he told them:
"Bleed in battles!

корректура
выкладкам ума.
Он придёт,
придёт
великий практик,
поведёт
полями битв,
а не бумаг! —
Жерновами дум
последнее меля́
и рукой
дописывая
восковой,
знаю,
Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны
флаг
над красною Москвой.
Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.
У каких-нибудь
годов
на расстоянии

The proof of theories
are concrete deeds.
He'll come
one day,
the genius of practice,
and guide you on
from books
to battlefields!"
As he wrote
his last
with fingers trembling,
as the last thoughts
flickered in his eyes,
I know,
Marx had a vision
of the Kremlin
and the flag
of the Commune
in Moscow's skies.
Like melons
the years
came on in maturity.
Labour
grew out of childhood
at length.
Capital's
bastions
lost security
as the proletarian tide
gained momentum and strength.
In a matter
of several years or so

сколько гроз
гудит
от нарастаний.
Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
за вспышками восстаний.
Крут
буржуев
озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
воя и стеная,
тени прадедов,
парижских коммунаров,
и сейчас
вопят
парижскою стеною:
— Слушайте, товарищи!
Смотрите, братья!
Горе одиночкам —
выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
Бейте партией!
Кулаком
одним
собрав
рабочий класс. —
Скажут:
«Мы вожди»,
а сами —
шаркунами!

inklings of gales
into tempests grow.
Uprisings break out
as the climax of wrath,
revolutions flare up
in their aftermath.
Curt
and ruthless
are the bourgeois' bestial ways;
crushed
by Thiers' and Galliffet's[7]
inhuman hammer,
from Paris,
from the wall
of Père Lachaise[8]
the shadows
of the Communards
still clamour:
"Look and listen,
comrades!
Learn
from our debacle!
Woe to single fighters!
Let our lesson
not be missed.
Only by a party
can the enemy be tackled,
clenching
all the working class
in one great fist!"
"We leaders!"
some'll say,
then turn about and sting.

За речами
шкуру
распознать умей!
Будет вождь
такой,
что мелочами с нами –
хлеба проще,
рельс прямей.

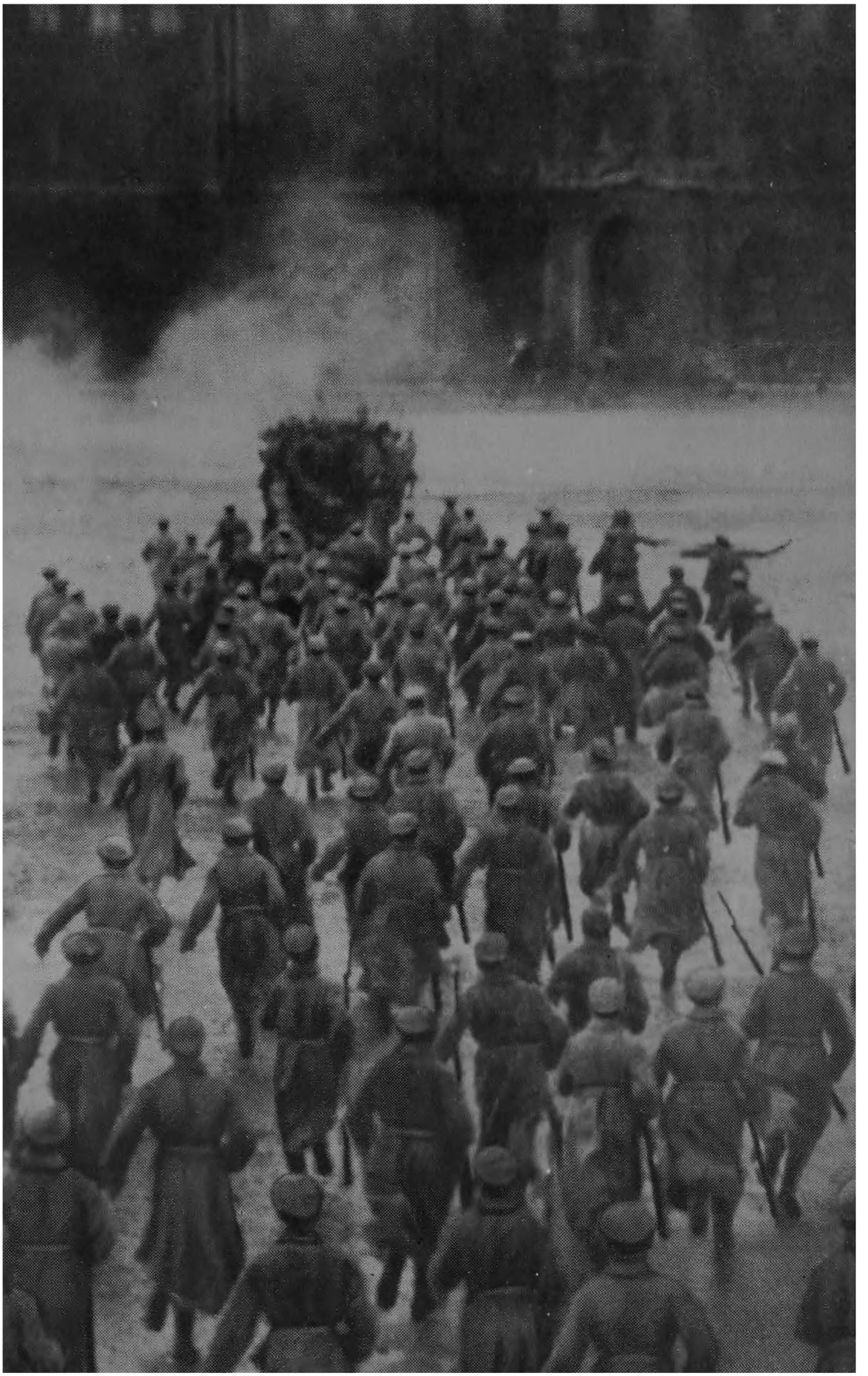
★

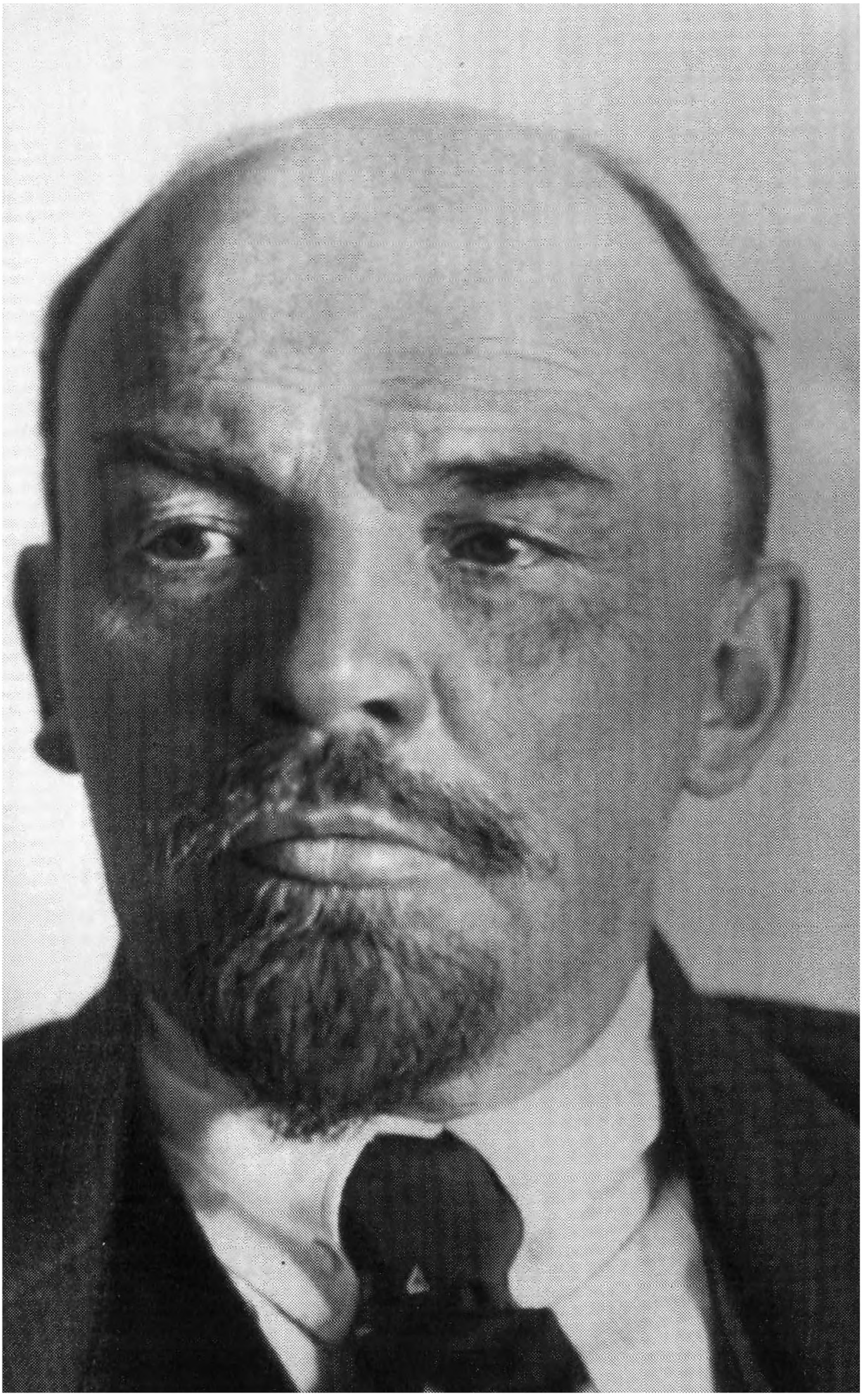
Смесью классов,
вер,
сословий
и наречий
на рублях колёс
землища двигалась.
Капитал
ежом противоречий
рос вовсю
и креп,
штыками иглясь.
Коммунизма
призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи...
По всему по этому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.

Learn to see
beneath the words
the spotted skin!
There'll be a leader
ours to the least thing,
straight as rails, simple as bread,
prepared to go through thick and thin.

★

A pot-pourri
of faiths and classes,
dialects
and conditions,
on wheels of gold
the great world
creaked along.
Capital,
a very hedgehog for contradictions,
bristling with bayonets,
waxed fat and strong.
The spectre of Communism
haunted Europe,
withdrew, then roamed again
throughout its girth.
For all these reasons
in Simbirsk,
half-way from Moscow
to the Urals,
Lenin,
a boy like any other,
came to birth.





Я ЗНАЛ РАБОЧЕГО.

Он был безграмотный.
Не разжевал
даже азбуки соль.
Но он слышал,
как говорил Ленин,
и он
знал — всё.
Я слышал
рассказ
крестьянина-сибирца.
Отобрали,
отстояли винтовками
и раем
разделали селеньице.
Они не читали
и не слышали Ленина,
но это
были ленинцы.
Я видел горы —
на них
и куст не рос.
Только
тучи
на скалы
упали ничком.

I KNEW A WORKER—
he was illiterate—
hadn't even tasted
the alphabet's salt,
yet he
had listened
to a speech by Lenin
and so
knew
all.
I remember a story
by a Siberian peasant;
they'd seized land,
held it
and worked it
into very heaven.
They'd never even heard,
much less read Lenin
but were Leninists
all,
from seven to seventy-seven.
I've been up mountains—
not a lichen on their sides,
just clouds
lying prone
on a rocky ledge.

И на сто вёрст
у единственного горца
лохмотья
сияли
ленинским значком.
Скажут —
это
о булавках а́хи.
Барышни их
вкалывают
из кокетливых причуд.
Не булавка вколота —
значком
прожгло рубахи
сердце,
полное
любовью к Ильичу.
Этого
не объяснишь
церковными славянскими
крюками,
и не бог
ему
велел —
избранник будь!
Шагом человеческим,
рабочими руками,
собственною головой
прошёл он
этот путь.

The one
living soul
for hundreds
of miles
was a herdsman
resplendent
with Lenin's badge.
Some'll call it
a hankering for pins.
Fit for girls—
makes a frock
look a bit more rich.
But that pin'll scorch
through shirts
and skins,
to the hearts
brimful
of devotion to Ilyich.
Devotion
not to be explained
by churchmen's
hooks and crooks;
no God Almighty
bade him
be a saviour.
Working
step
by step
his way through life and books,
he grew to be
the teacher of world labour.

★

Сверху
взгляд
на Россию брось —
рассинелась речками,
словно
разгулялась
тысяча розг,
словно
плетью исполосована.
Но синей,
чем вода весной,
синяки
Руси крепостной.
Ты
с боков
на Россию глянь —
и куда
глаза ни кинь,
упираются
небу в склянь
горы,
каторги
и рудники.
Но и каторг
больнее была
у фабричных станков
кабала.
Были страны
богатые более,

Look down
at Russia
from a flying plane.
She's blue
with rivers
as if
lashed all over
with a willow cane
or striped
by a seven-tail whip.
But bluer
than a river
ever looks through its rushes
were the bruises
of landlord-ridden
Russia.
Take a sidelong view
of the woebegone land:
wherever
you cast your eyes
mountains,
pit-heads
and prison-camps stand
propping up
her skies.
But worse than jail,
worse than war in the trenches
was the lot
of those
who slaved at her benches.
There were countries
richer by far,
I've heard,

красивее видал
и умней.
Но земли
с ещё большей болью
не довиделось
видеть
мне.
Да, не каждый
удар
сотрёшь со щеки.
Крик крепчал:
— Подымайтесь
за землю и волю вы!—
И берутся
бунтовщики-
одиночки
за бомбу
и за ревóльвер.
Хорошо
в царя
вогнать обойму!
Ну, а если
только пыль
взметнёшь у колеса!!
Подготовщиком
цареубийства
пойман
брат Ульянова,
народоволец
Александр.
Одного убьёшь —
другой
во весь свой пыл

more beautiful,
more sane,
but never have I met
in the whole wide world
a land
so full
of sorrow
and pain.
Yet pain and contempt
can't be borne
forever.
Land and Freedom!
the cry grew louder,
till lone rebels,
believers
in individual terror
took to dynamite,
bullets
and powder.
It's well
to finish
the tsar at a shot,
but that
couldn't turn the tide.
And Lenin's brother
Alexander
was caught
preparing
regicide.
Shoot a tsar
and another
with all his might

ушедших
переплюнуть тужится.
А Ульянов
Александр
повешен был
тысячным из шлиссельбуржцев.
И тогда
сказал
Ильич семнадцатигодовый —
это слово
крепче клятв
солдатом поднятой руки:
— Брат,
мы здесь
тебя сменить готовы,
победим,
но мы
пойдём путём другим! —

★

Оглядите памятники —
видите
героев род вы!
Станет Гоголем,
а ты
венком его величь.
Не такой —
чернорабочий,
ежедневный подвиг
на́ плечи себе
взвалил Ильич.

will strain
to break
the record in tortures.
And so
Alexander Ulyanov
one night
was hanged
by the light of Schlüsselburg torches.[9]
Then his brother,
a seventeen-year-old youth,
swore an oath
that was firmer
than any.
"Brother,
we'll take up
the battle for truth
and win,
but by other means,"
pledged Lenin.

★

Your usual hero—
look at the statues—
struts like a peacock:
"I'll show you
which is which!"
Not such was the feat,
arduous,
plain,
undramatic,
chosen
as the task of his life
by Ilyich.

Он вместе,
учит в кузничной пасти,
как быть,
чтоб зарплата
взросла пятаком.
Что делать,
если
дерётся мастер.
Как быть,
чтоб хозяин
поил кипятком.
Но не мелочь
целью в конце:
победив,
не стой так
над одной
сметённой лужею.
Социализм — цель.
Капитализм — враг.
Не веник —
винтовка оружие.
Тысячи раз
одно и то же
он вбивает
в тугой слух,
а назавтра
друг в друга вложит

Together with men
from the mills and mines
he sought
to raise wages
to a decent level,
looked for ways
of fighting
deductions and fines
and teaching good manners
to a foreman-devil.
But the struggle's
not merely
for some such claim—
to sweep up a puddle
and then go slow—
satisfied
by a trifle.
No—
Socialism's the aim,
Capitalism
the foe
and the weapon
no broom
but a rifle.
The same things
again
and again
and again
he hammers down
into the work-dimmed brain.
And tomorrow
those
who've at last understood

понявших двух.
Вчера — четыре,
сегодня — четыреста.
Таимся,
а завтра
в открытую встанем,
и эти
четыреста
в тысячи вырастут.
Трудящихся мира
подымем восстанием.
Мы уже
не тише вод,
травинок ниже —
гнев
трудящихся
густится в туче.
Режет
молниями
Ильичёвых книжек.
Сыпет
градом
прокламаций и летучек.
Бился
об Ленина
тёмный класс,
тёк
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,

pass it on
and make
the lesson good.
Yesterday it was dozens,
today it's hundreds,
tomorrow
thousands
into action rousing,
till the whole working world
will start rumbling like thunder
and break
into an open uprising.
We're no longer timid
as newly-born lambkins;
the workers' wrath
condenses
into clouds,
slashed
by the lightning
of Lenin's pamphlets,
his leaflets
showering
on surging crowds.
The class
drank its fill
of Lenin's light
and,
enlightened,
broke
from the gloom of millennia.
And in turn,
imbibing
the masses' might,

с классом
рос
Ленин.
И уже
превращается в быль
то,
в чём юношей
Ленин кля́лся:
— Мы
не одиночки,
мы —
союз борьбы
за освобождение
рабочего класса. —
Ленинизм идёт
всё далее
и более
вширь
учениками
Ильичёвой выверки.
Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной Володимирки.
Нынче
нами
шар земной заверчен.
Даже
мы,
в кремлёвских креслах если, —

together with the class
grew Lenin.
And gradually,
enriched
by the fertile communion,
they bring
young Vladimir's pledge
to realisation,
no longer
each
on his own,
but a Union
of Fighters
for Working Class
Emancipation.[10]
Leninism spreads
ever wider
and deeper.
Lenin's disciples
work miracle after miracle,
the underground's grit
traced in blood-drops
seeping
through the dust
and slush
of the endless Vladimirka.[11]
Today
we spin
the old globe
our way.
Yet even
when debating
in Kremlin armchairs

скольким
вдруг
из-за декретов Нерчинск
кандалами
раззвенится в кресле!
Вам
опять
напомню птичий путь я.
За волчком —
трамваев
электрическая рысь.
Кто
из вас
решётчатые прутья
не царапал
и не грыз!!
Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».
Полюбилась Ленину
в какой из ссылок
этой песни
траурная сила!

★

Говорили —
мужичок
своей пойдёт дорогой,

there's few
won't suddenly recall a day
filled
with the groans
of chain-gang marchers.
Remember
the none-too-distant past:
beyond the eye-hole
trams, droshkies, cars....
Who of you,
let me ask,
didn't bite
and tear
at prison-bars?
We could smash out
our brains
on the walls weighing on us:
all they did was mop up
and strew sand.
"It wasn't long but honest
Your service to your land..."
In which of his exiles
did Lenin
get fond
of the mournful power
of that song?

★

The peasant—
'twas urged—
would blaze his own tracks

заведёт
социализм
бесхитростен и прост.
Нет,
и Русь
от труб
становится сторóгой.
Город
дымной бородой оброс.
Не попросят в рай —
пожалуйста,
войдите —
через труп буржуазии
коммунизма шаг.
Ста крестьянским миллионам
пролетариат водитель.
Ленин —
пролетариев вожак.
Понаобещает либерал
или эсерик прыткий,
сам охочий до рабочих шей, —
Ленин
фразочки
с него
пообóрвёт до нитки,
чтоб из книг
сиял
в дворянском нагише.
И нам
уже
не разговорцы досужие,
что-де свобода,
что люди братья, —

and set up socialism
without hitch or wrangle.
But no—
Russia too
goes bristling with stacks;
black beards of smoke
round her cities tangle.
There's no god
to bake us
pies in the skies.
The proletariat
must head
the peasant masses.
Over capital's corpse
Russia's highroad
lies,
with Lenin
to lead
the toiling classes.
They'd promise heaps,
wordy liberals and S.R.s,[12]
themselves
not loath
to saddle workers' backs.
Lenin made
short work of their yarns,
left them bare as babies
in the blaze of facts.
He soon disposed
of their empty prattle
full of "liberty",
"fraternity"
and suchlike words.

в марксовом всеоружии
одна
на мир
большевистская партия.
Америку
пересекаешь
в экспрессном купе,
идёшь Чухломой —
тебе
в глаза
вонзается теперь
РКП
и в скобках
маленькое «б».
Теперь
на Марсов
охотится Пулково,
перебирая
небесный ларчик.
Но миру
эта
строчная буква
в сто крат красней,
грандиозней
и ярче.

★

Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.

Arming
with Marxism,
mustering for battle,
rose the only
Bolshevik Party
in the world.
Now,
touring the States
in a de luxe coupé,
or footing it through Russia—
wherever you be
they meet you,
the letters
R.C.P.
with their bracketed neighbour,
B.[13]
Today
it's red Mars
astronomers are hunting,
telescopes
scanning the sky from a high tower.
Yet that modest letter
on paper or bunting
shines to the world
ten times redder and brighter.

★

Words—
even the finest—
turn into litter,
wearing threadbare
with use and barter.

Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».
Единица!
Кому она нужна!!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто её услышит! —
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия —
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихих и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин —
каждый дюжий
ему господин,

Today
I want to infuse
new glitter
into the most glorious of words:
PARTY.
Individual—
what can he mean
in life!
His voice
sounds fainter
than a needle dropping.
Who hears him!
Only, perhaps,
his wife,
and then if she's near
and not out shopping.
A Party's
a raging,
single-voiced storm
compressed
out of voices
weak and thin.
The enemy strongholds
burst with its roar
like eardrums
when cannon
begin their din.
One man alone
feels down and out.
One man alone
won't make weather.
Any old bully
can knock him about—

и даже слабые,
если двое.
А если
в партию
сгрýдились малые —
сдайся, враг,
замри
и ляг!
Партия —
рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.
Единица — вздор,
единица — ноль,
один —
даже если
очень важный —
не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.
Партия —
это
миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.
Партией
стройки
в небо взмечем,
держа
и вздымая друг друга.

even weaklings
if many together.
But when
we midgets
in a Party stand—
surrender,
enemy,
lie low
and be quiet!
A Party's
a million-fingered hand
clenched
into one fist
of shattering might.
What's an individual?
Absurd—
no good.
One man,
even the most important of all,
can't raise a ten-yard log of wood,
to say nothing
of a house
ten stories tall.
A Party means millions
of arms,
brains,
eyes
linked
and acting together.
In a Party
we'll rear our projects to the skies,
upholding and helping
one another.

Партия —
спинной хребет рабочего класса.
Партия —
бессмертие нашего дела.
Партия — единственное,
что мне не изменит.
Сегодня приказчик,
а завтра
царства стираю в карте я.
Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса —
вот что такое партия.
Партия и Ленин —
близнецы-братья —
кто более
матери-истории ценен!
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем —
Ленин.

★

The Party's
the compass
that keeps us on course,
the backbone
of the whole working class.
The Party
embodies
the immortality of our cause,
our faith
that will never
fail or pass.
Yesterday an underling,
today
whole empires I'm uncharting.
The brain,
the strength,
the glory of its class,
that's what it is,
our Party.
Lenin
and the Party
are brother-twins.
Who'll say
which means more
to History, their mother!
Lenin
and the Party
are the closest kin;
name one
and you can't but imply
the other.

★

Ещё
горой
коронованные главы,
и буржуи
чернеют
как вороны в зиме,
но уже
горение
рабочей лавы
по кратеру партии
рвётся из-под земель.
Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним!
Сами
с оружием
встали пресненцы.
Казалось —
сейчас
покончим с троном,

Crowns and coronets
still galore,
bourgeois
still blacken
like wintering crows.
But labour's lava
already starts to pour:
see—
through the Party's crater
it flows.
January 9.
Gapon,[14]
the "people's friend",
debunked.
We fall
in the rifles' crackle.
Tall tales
about the tsar's royal mercy
end
with Mukden's bloodbath
and Tsushima's
debacle.[15]
Enough!
No belief left
for twaddle and twiddle.
The Presnya[16]
takes to arms,
done with ballyhoo.
It seemed
the throne
would soon snap across the middle

за ним
и буржуево
кресло треснется.
Ильич уже здесь.
Он изо дня на́ день
проводит
с рабочими
пятый год.
Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведёт
всего восстания ход.
Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».
Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестиком.
А после
«свободной»
медовой недели
речи,
банты
и пения плавные
пушечный рёв
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание
царев адмирал,
каратель Дубасов.

and forthwith
the bourgeois easy chair too.
Ilyich is everywhere.
Day after day
he fights
with the workers
through 1905,
standing nearby
on every barricade,
innerving
the revolution
with his vigour and drive.
But soon
came the treacherous trick:
Hey Presto!
Red ribbons
blossomed
like a virgin's cheek.
The tsar
from his balcony
read the Manifesto.[17]
Then,
after a "free" honey-week,
the speeches,
the singing,
the hooraying and hailing
are covered
by the treble bass of
cannon:
on the workers' blood goes sailing
the tsar's butcher-admiral
Dubasov.[18]

Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чекà!
Смотрите,
как здесь,
связавши зà локти,
рабочих нàсмерть
секли по щекам.
Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и всё изгадили.
Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.
Сам заскулил
товарищ Плеханов:
— Ваша вина,
запутали, братцы!
Вот и пустили
крови лохани!
Нечего
зря
за оружье браться. —
Ленин
в этот скулёж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:

Spit in the faces
of white dross who tell us
about the Cheka's[19]
blood-dousings!
They ought to have seen
how, tied by the elbows,
workers
were whipped to death
by thousands.
Reaction ran amuck.
Intellectual bunglers
withdrew,
recluses,
and became the meekest,
locked themselves in
with blinking candles
and smoked incense,
god-damn God-seekers.[20]
Even Comrade Plekhanov[21] himself
raised a whine:
"It's the Bolsheviks' fault;
it's theirs, the muddle is.
Shouldn't have taken up arms
at the time
and blood wouldn't swirl,
as it does,
in puddles."
But here
with his courage
never failing
Lenin
cut
into the traitors' wail:

— Нет,
за оружие
браться нужно,
только более
решительно и энергично.
Новых восстаний вижу день я.
Снова подымется
рабочий класс.
Не защита —
нападение
стать должно
лозунгом масс. —
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане
покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.

★

И Ленин
снова
в своём изгнании
готовит
нас
перед новой битвой.

"O yes we should have—
I'll repeat it daily—
only far more resolutely—
and wouldn't have failed.
I see
the hour of new upheavals arriving
again
to bring out
the working
classes.
Not defence
but attack
should become the driving
slogan
of the masses."
That nightmare year
with its bloody pool
and the massacre
of the workers'
insurgent millions
will pass
and appear
as preparatory school
for the hurricanes
of future rebellions.

★

And Lenin
once more
turns jail into college,
educating us
for the coming battle,

Он учит
и сам вбирает знание,
он партию
вновь
собирает разбитую.
Смотри —
забастовки
вздымают год,
ещё —
и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.
Но вот
из лет
подымается
страшный четырнадцатый.
Так пишут —
солдат-де
раскурит трубку,
балакать пойдёт
о походах древних,
но эту
всемирнейшую мясорубку
к какой приравнять
к Полтаве,
к Плевне!!
Империализм
во всём оголении —
живот наружу,
с вставными зубами,
и море крови
ему по колени —

teaching others,
himself gaining knowledge,
regathering the Party
unmanned and scattered.
Year after year
the strikes scored higher:
a spark
and the people'll
flare up again.
But then
came a year
that put off the fire—
1914
with its deluge of pain.
It's thrilling
when veterans
twirl their whiskers
and, smirking,
spin yarns
about old campaigns.
But this wholesale,
world-wide
auction of mincemeat—
with what Poltava
or Plevna[22]
will it compare!
Imperialism
in all
his filth and mud,
false teeth bared,
growling and grunting,
quite at home
in the gurgling ocean of blood,

сжирает страны,
вздымая штыками.
Вокруг него
его подхалимы —
патриоты —
приспособились Вовы —
пишут,
руки предавшие вымыв:
— Рабочий,
дерись
до последней крови! -
Земля —
горой
железного лома,
а в ней
человечья
рвань и рваль.
Среди
всего сумасшедшего дома
трезвый
встал
один Циммервальд.
Отсюда
Ленин
с горсточкой товарищей
встал над миром
и поднял над
мысли
ярче
всякого пожарища,
голос
громче
всех канонад.

went swallowing up
country after country.
Around him,
cozy,
social-patriots and sycophants,
raising heavenwards
the hands
that betray,
scream like monkeys
till everyone's sick of it:
"Worker—
go it—
on with the fray!"
The world's
iron scrap-heap
kept piling
and piling,
mixed with minced man's-flesh
and splintered bone.
In the midst
of all this
lunatic asylum
Zimmerwald[23]
stood sober alone.
Ever remembered
is the speech Lenin made
above the world uproar
raising on high
a voice
far louder
than any cannonade,
thoughts more inflaming
than any fire.

Оттуда —
миллионы
канонадою в уши,
стотысячесабельной
конницы бег,
отсюда,
против
и сабель и пушек, —
скуластый
и лысый
один человек.
— Солдаты!
Буржуи,
предав и продав,
к туркам шлют,
за Верден,
на Двину.
Довольно!
Превратим
войну народов
в гражданскую войну!
Довольно
разгромов,
смертей и ран,
у наций
нет
никакой вины.
Против
буржуазии всех стран
подымем
знамя
гражданской войны! —

On one side
were millions
writhing in the labour
of war
to bring would-be victory
forth,
on the other—
against
both cannon and sabre—
one man
of ordinary
stature and girth.
"Soldiers!
The bourgeois
betray and sell you,
send you to slaughter
as a thousand times before.
Enough of it!
Hear what I tell you:
Turn this war
among nations
into civil war.
What are we,
peoples,
arguing for?
Put an end
to catastrophes,
wounds
and losses.
Raise the banner
of holy war
against
the world-wide bosses!"

Думалось:
сразу
пушка-печка
чихнёт огнём
и сдунет гнилью,
потом поди,
ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию.
Глоткой орудий,
шипевших и вывших,
друг другу
страны
орут —
на колени!
Додрались,
и вот
никаких победивших —
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истощили
терпенье ангельское.
Ты
восставшею
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.
Империя —
это тебе не ку́ра!
Клювастый орёл
с двухглавою властью.

It looked as though,
infernally booming,
the cannon would sneeze
and blow him away.
Who'd ever find
the fragile human!
Who would remember
his name!
"Surrender!"
one country
roared
to another.
Looked as if they'd go on fighting
for millennia.
But at last it was over,
and lo,
no winners
except for one—
Comrade Lenin.
Imperialism,
damn you!
You've exhausted our patience,
once fit for angels.
Rebellious Russia
has rammed you
through—
from Tauris to Archangel.
An empire's no hen—
no joke bagging it,
the two-headed,
power-vested,
hook-beaked eagle.

А мы,
как докуренный окурок,
просто
сплюнули
их династью.
Огромный,
покрытый кровавою ржою,
народ,
голодный и голоштанный,
к Советам пойдёт
или будет
буржую
таскать,
как и встарь,
из огня каштаны!
— Народ
разорвал
оковы царьи,
Россия в буре,
Россия в грозе, —
читал
Владимир Ильич
в Швейцарии,
дрожа,
волнуясь
над кипой газет.
Но что
по газетным узнаешь клочьям?
На аэроплане
прорваться б ввысь,
туда,
на помощь
к восставшим рабочим, -

And yet
we spat out
like a finished fag-end
their dynasty
with all trappings,
regal and legal.
The nation
scrambling out of the mire,
huge,
famished,
blood-crust all over it—
would it go on
dragging chestnuts from the fire
for the bourgeois,
or would it go Soviet!
"The people
have broken
tsarist fetters.
Russia's boiling,
Russia's ablaze!"
Lenin read
in newspapers and letters
in Switzerland
where he lived those days.
But what could one fish
out of newsprint tatters!
O,
for an airplane
skyward to speed—
home,
to the aid
of the workers in battle—

одно желанье,
единая мысль.
Поехал,
покорный партийной воле,
в немецком вагоне,
немецкая пломба.
О, если бы
знал
тогда Гогенцоллерн,
что Ленин
и в их монархию бомба!

★

Питерцы
всё ещё
всем на радость
лобзались,
скакали детишками малыми,
но в красной ленточке,
слегка припарадясь,
Невский
уже
кишел генералами.
За шагом шаг —
и дойдут до точки,
дойдут
и до полицейского свиста.
Уже
начинают
казать коготочки
буржуи
из лапок своих пушистых.

that
was his only longing and need.
But at last
at the Party's bidding
he's on wheels.
If only
the murderous Hohenzollern[24] knew
that the German goods waggon
under German seals
carried
a bomb
for his monarchy, too!

★

Petrograd citizens
still kept skipping,
exulting
in glee ephemeral.
But already,
red-ribboned,
in martial frippery,
the Nevsky[25] swarmed
with treacherous generals.
Another few steps
and they'll reach the limit:
it'll come
to policemen's whistles.
The bourgeois
already itch to begin it,
already
the fur
on the beast's back bristles.

Сначала мелочь —
вроде малько́в.
Потом повзрослее —
от шпротов до килечек.
Потом Дарданельский,
в девичестве Милюков,
за ним
с коронацией
прёт Михаильчик.
Премьер
не власть —
вышивание гладью!
Это
тебе
не грубый нарком.
Прямо девушка —
иди и гладь её!
Истерики закатывает,
поёт тенорком.
Ещё не попало
нам
и росинки
от этих самых
февральских свобод,
а у оборонцев —
уже хворостинки —
«марш, марш на фронт,
рабочий народ».
И в довершение
пейзажа славненького,
нас предававшие
и до
и пото́м,

At first
mere fry
at which one might scoff,
then big sharks
emerged
to swallow
the nation.
Next
Dardanelsky,
née Milyukov,[26]
and finally
Prince Mikhail
agog for coronation.
The Premier
wields power
with feathery splendour:
none of your commissar's snarling.
Sings in a tenor,
ever so tender,
even kicks up hysterics,
the darling.
We hadn't yet tasted
the sorriest crumbs
of February's
freedom-prodigies
when
"Off to the front,
working thingamagums!"
the war-boys
began prodding us.
And to crown
this picture
of passing beauty,

вокруг
сторожами
эсеры да Савинковы,
меньшевики —
учёным котом.
И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик.
И снова
ветер
свежий, крепкий
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»
— Товарищи! —
и над головами
первых сотен
вперёд
ведущую
руку выставил.
— Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья.

traitors and provocateurs
before and after that,
S.R.s and Savinkovs[27]
stood on watchdog duty
with Mensheviks
as the Tell-Tale Cat.[28]
When suddenly
into the city
sleekening with blubber
from beyond
the broad-banked Neva,
from Finland Station
through the Vyborg suburb
rumbled
an armoured car.
And again
the gale,
momentum gaining,
set the whirlwind
of revolution spinning.
Caps and blouses
flooded the Liteiny[29]:
"Lenin's with us!
Long live Lenin!"
"Comrades,"
and over the heads
of the hundreds clapping
forward
a guiding hand
he thrust,
"Let's cast off
the outworn Social-Democrat trappings.

Долой
власть
соглашателей и капиталистов!
Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая коммунизм,
да здравствует
восстание
за власть Советов! —
Впервые
перед толпой обалделой
здесь же,
перед тобою,
близ,
встало,
как простое
делаемое дело,
нодосягаемое слово —
«социализм».
Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —

Chuck the capitalists
and their yes-men
into the dust!

We voice
the will
of the toilers
and tillers
of the whole world.
Now's the hour.

Long live the Party
of communism builders,
long live
armed struggle
for Soviet power!"

For the first time ever
without ado
before the flabbergasted
human ocean
arose
as a routine thing to do
once unattainable
socialism.

There,
beyond the factories roaring,
there, on the horizon
with blinding force
it shone
before us,
the Commune
of tomorrow

без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ.
На толщь
окрутивших
соглашательских верёвок
слова Ильича
ударами топора.
И речь
прерывало
обвалами рёва:
«Правильно, Ленин!
Верно!
Пора!»
Дом
Кшесинской,
за дрыгоножество
подаренный,
нынче —
рабочая блузница.
Сюда течёт
фабричное множество,
здесь
закаляется
в ленинской кузнице.
«Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй».
Уж лезет
к сидящим
в хозяйском стуле —

without bourgeois,
proletarians,
slaves
or lords.
Through the tangle
of tethering
yes-men's tenets
Lenin's speech
came crashing like an axe,
indented with uproar
every minute:
"Right,
Lenin!
It's time to act!"
Kshesinskaya's palace,[30]
earned by twiddling toes,
today's invaded
by boots
steel-heeled.
It's here
the factory multitude
flows
in Lenin's smithy
to be tempered
and steeled.
"Munch your pineapples,
chew your grouse!
Your days are over,
bourgeois louse!"
Already we demanded
the wherefore and why

да что жуёте!
Примериваясь,
в июле
за горло потрогали
и за животик.
Буржуевы зубья
ощерились разом.
— Раб взбунтовался!
Плетями,
да в кровь его! —
И ручку
Керенского
водят приказом —
на мушку Ленина!
В Кресты Зиновьева!
И партия
снова
ушла в подполье.
Ильич на Разливе,
Ильич в Финляндии.
Но ни чердак,
ни шалаш,
ни поле
вождя
не дадут
озверелой банде их.
Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,

from those
who, lording it,
quaffed and guzzled,
and during
the dress rehearsal of July[31]
tickled their gizzards
with revolver muzzles.
The bosses bared fangs,
their looks spelt murder;
"Rioting slaves!
We'll show 'em!"
they thundered.
"Lenin to the wall!"
Kerensky[32] penned the order;
"To jail with Zinoviev[33]!"
and the Party
went underground.
Ilyich's in Finland,
at Razliv,
safe and sound,
hidden securely
in a twig shelter.
It won't betray him
to the pack of hounds
ready
to snap him up
in the welter.
Lenin's unseen,
and yet he's near,
and time and events
don't stand.

ленинская мысль,
видна
ведущая
ленинская рука.
Словам Ильичёвым —
лучшая почва:
падают,
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего —
плечи
миллионов крестьян.
И когда
осталось
на баррикады выйти,
день
наметив
в ряду недель,
Ленин
сам
явился в Питер:
— Товарищи,
довольно тянуть канитель!
Гнёт капитала,
голод-уродина,
войн бандитизм,
интервенция во́рья —

Every slogan
is Lenin's idea,
every move
is guided
by Lenin's hand.
Each word
by Ilyich
finds soil most fertile
and falling
forthwith
promotes
our cause,
and see—
alongside
with Leninist workers
millions of peasants
into its orbit it draws.
And when
it remained
but to mount
barricades,
having chosen
a day out of many,
back to Petrograd
to the workers' aid
with
"Comrades,
we've waited enough!"
came Lenin.
"The yoke of capital,
hunger's prodding,
the banditry of wars
and thieving intervention

будет! —
покажутся
белее родинок
на теле бабушки,
древней истории. —
И оттуда,
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.
Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет лета́,
и счастье
сластью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,

will seem
in time
mere moles on the body
of Grandma History,
escaping attention."

And looking back
from the future
on this day
the first thing seen
will be Lenin's figure,
from millennia
of slavery
blazing the way
to the age of the Commune
through want
and rigour.

These years of privation
will sink into the past
and the summer
of the Commune
warm this globe of ours,
and the huge,
sweet fruit of happiness
at last
will mature
from the crimson
October flowers.

And then
the readers
of Lenin's behests,

пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слёзы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
Когда я
итожу
то, что про́жил,
и роюсь в днях —
ярчайши́й где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулемётчики.
— Вас
вызывает
товарищ Сталин.

as the yellowing pages
they peruse,
will feel a hot tide
well up in their breasts,
and in their eyes—
hot tears,
long since out of use.
When I look
for the grandest day
of my life,
rummaging
in all
I've gone through and seen,
I name without doubt
or internal strife
October 25,
1917.
The Smolny[34] throbs
in a buzz of excitement.
Grenades
hang on seamen
like partridges.
Bayonets zigzag
like flashes of lightning.
Below stand machine-gunners
belted with cartridges.
No aimless shuffling
in the corridors;
with bombs and rifles
no one's a novice.
"Comrade Stalin
wants to see you."

третья,
он
там. —
— Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали!
В броневики
и на почтамт! —
— По приказу
товарища Троцкого! —
— Есть! —
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лампой
блеснуло —
«Аврора».
Кто мчит с приказом,
кто в куче спорящих,
кто щёлкал
затвором
на левом колене.
Сюда
с того конца коридорища
бочком
пошёл
незаметный Ленин.
Уже
Ильичём
поведённые в битвы.

"Here's
the orders:
armoured cars—
to the General Post Office."
"Comrade Trotsky's[35] instructions."
"Right!"
—he dashed forward
and the man's
navy ribbons
flashed:
"Aurora".[36]
Some run with dispatches,
others
stand arguing,
still others
click rifle-bolts—
no two figures
the same.
And here,
no token
of greatness
or grandeur,
brisk
but inconspicuous,
Lenin
came.
Already
led
by Lenin
into battle,

ещё
не зная
его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре
Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощуря,
вонзал,
заложивши
руки за̀ спину.
В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
уставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.
И знал я,
что всё
раскрыто и понято

they didn't know him
from portraits
yet;
bustled,
hollered,
exchanged banter,
with a quickfire of oaths,
hail-fellow-well-met.
And there,
in that long-wished-for
iron storm
Lenin,
drowsy with fatigue,
it would seem,
pacing,
stopping,
hands clasped behind back,
dug his eyes
into the motley scene.
Once I saw him
stabbing them
into a chap in puttees,
dead-aiming,
sharp-edged
as razors,
seizing the gist
as pincers would seize,
dragging the soul
from under words and phrases.
And I knew,
everything
was disclosed
and understood,

глазом
наверное выловится —
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля путиловца.
Он
в черепе
сотней губерний ворочал,
людей
носил
до миллиардов полутора.
Он
взвешивал
мир
в течение ночи,
а утром:
— Всем!
Всем!
Всем это —
фронтам,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,
в рабство
богатым отданным. —
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!

those eyes
were raking for:
where
the shipwright
and miner stood,
what
the peasant and soldier were aching for.
He kept all races
within his sight,
all continents
where the sun goes setting
or dawning;
weighed the whole globe
in his brain
by night
and
in the morning:
"To all,
every
and each,
slaves of the rich
one another
hacking and carving;
to you we appeal
this hour:
Let the Soviets
take over
government power!
Bread
to the starving!
Land
to the farmers!

Хлеб голодным! —
Буржуи
прочли
— погодите,
выловим, —
животики пятят
доводом веским —
ужо им покажут
Духонин с Корниловым,
покажут ужо им
Гучков с Керéнским.
Но фронт
без боя
слова эти взяли —
деревня
и город
декретами зáлит,
и даже
безграмотным
сердце прожёг.
Мы знаем,
не нам,
а им показали,
какое такое бывает
«ужо».
Переходило
от близких к ближним,
от ближних
дальним взрывало сердца:
«Мир хижинам,
война,
война,
война дворцам!»

to the peoples
and their warring armies!"
The bourgeois, busy
drinking their fill of
soldierly blood,
shrieked in a frenzy:
"At 'em,
Dukhonin and Kornilov,
show 'em what's what,
Guchkov[37] and Kerensky!"
But both front and rear
surrendered without a shot
when the decrees[38]
hailed down on them,
scorching.
Today we know
who showed whom
what's what;
even at illiterates' hearts
they got,
into steel determination
forging.
From near
unto far
it went rolling,
mounting
from a whisper
to a roar:
"Peace to cottages
poor and lowly,
war on palaces,
war, war, war!"

Дрались
в любом заводе и цехе,
горохом
из городов вытряхали,
а сзади
шаганье октябрьское
метило вехи
пылающих
дворянских усадеб.

Земля —
подстилка под ихними порками,
и вдруг
её,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями её
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.

В очках
манжетщики,
злобой похаркав,
ползли туда,
где царство да графство.

Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!

★

We fought
in all factories,
humble and famous,
shook 'em out of cities like peas,
while outside
the October wildfire
left flaming manors
for landmarks
marking
its triumphant stride.
The land—
once a mat
for wholesale floggings—
was suddenly seized
by a calloused hand
with rivulets,
hillocks
and other belongings
and held tight—
the long-dreamed-of,
blood-soaked land.
The spectacled white-collars,
spitting in spite,
sneaked off
to where kingdoms and counties
still remain.
Good riddance!
We'll train every cook
so she might
manage the country
to the workers' gain.

★

Мы жили
пока
производством ротаций.
С окопов
летело
в немецкие уши:
— Пора кончать!
Выходите брататься! —
И фронт
расползался
в улитки теплушек.
Такую ли
течь
загородите горстью!
Казалось —
наша лодчонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористей,
сотрёт
Советской страны границы.
Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
ловили бегущих
в своё словоблудьище,
тащили
по-рыцарски
глупой шпажонкой
красиво
сразить
броневые чудища!
Ильич
петушившимся
крикнул:

We survived
for the time
by printing,
writing,
bellowing
from the trenches
into the German ear:
"Come out and fraternise!
Finish fighting!
Enough!"
and the front
crumbled off into the rear.
Leaking in torrents
that swelled out of trickles,
it seemed
our boat was about to careen:
Wilhelm's boot,
far heftier than Nicholas',
would smash the country
to smithereens.
Then came the S.R.s
with their infantile drivelling,
to catch the runners
in their word-traps preposterous;
dragged them back
with toy swords
from the scrap-heap
of chivalry
picturesquely to vanquish
the iron-clad monsters.
But Lenin
curbed
the gamecocks' zest:

— Ни с места!
Пусть партия
взвалит
и это бремя.
Возьмём
передышку похабного Бреста.
Потеря — пространство,
выигрыш — время. —
Чтоб не передо́хнуть
нам
в передышку,
чтоб знал —
запомнят уда́ры мои,
себя
не муштровкой —
сознанием вышколи,
стройся
рядами
Красной Армии.

★

Историки
с гидрой плакаты выдерут
— чи эта гидра была,
чи нет! —
а мы
знавали
вот эту гидру
в её
натуральной величине.

"The Party
must shoulder
the burden again.
We'll accept
the breathing-space
of filthy Brest[39]:
Territory we'll lose,
but time we'll gain."
And,
so as the breathing-space
shouldn't kill us,
to be able,
later,
to knock them barmy,
let discipline
and conscious resolve
be our drillers.
Rally
in the ranks
of the Red Army!

★

Historians
will stare
at the posters with hydras[40]:
"Did those hydras
exist or not!"
As for us,
that same hydra
reached out to bite us
and a full-size hydra it was,
by god.

«Мы смело в бой пойдём
за власть Советов
и как один умрём
в борьбе за это!»

Деникин идёт.
Деникина выкинут,
обрушенный пушкой
подымут очаг.
Тут Врангель вам —
на смену Деникину.
Барона уронят —
уже Колчак.
Мы жрали кору,
ночёвка — болотце,
но шли
миллионами красных звёзд,
и в каждом — Ильич,
и о каждом заботится
на фронте
в одиннадцать тысяч вёрст.
Одиннадцать тысяч вёрст
окружность,
а сколько
вдоль да поперёк!
Ведь каждый дом
атаковывать нужно,
каждый
врага
в подворотнях берёг.
Эсер с монархистом
шпионят бессонно —
где жалят змеёй,
где рубят с плеча.

"All dangers we'll defy,
No limit to our courage,
And fighting we will die
For Soviet power to flourish!"

First comes Denikin.[41]
Denikin gets a lickin'.
Repair work begins
on our ruined hearths.
Then Wrangel[42] turns up
in the wake of Denikin;
the baron kicked out,
Kolchak[43] comes en masse.
Our dinners—bark,
beds—any old where,
yet forward
the red-starred legion bursts.
In each lives Lenin,
each feels Lenin's care,
each along a front of eleven thousand versts.
That was its breadth—
eleven thousand versts,
but who knows
its depth and length!
Every door
an enemy ambush nursed,
every house
to be taken
took blood and strength.
S.R.s and monarchists
with their tongues and guns
sting,
the vipers,
bite like hounds.

Ты знаешь
путь
на завод Михельсона!
Найдёшь
по крови
из ран Ильича.
Эсеры
целят
не очень верно —
другим концом
да себя же
в бровь.
Но бомб страшнее
и пуль револьве́рных
осада голода,
осада тифо́в.
Смотрите —
кружат
над крошками мушки,
сытней им,
чем нам
в осьмнадцатом году, -
простаивали
из-за осьмушки
сутки
в улице
на холоду.
Хотите сажайте,
хотите травите —
завод за картошку —
кому он не жалок!
И десятикорпусный
судостроитель

You don't know the way
to Michelson's?

You'll find it
by the blood
from Lenin's wounds.[44]

S.R.s talk better
than they pull a trigger,
their bullets
their own ribs ramming.

But a menace
beside which
bullets were meagre
was the siege
begun
by typhus
and famine.

Look at the crumb-collecting
flies:

by far
better off
than we were then,
queueing
in the freeze
for a tiny slice
days
on end.

Fancy
a giant shipbuilding wharf
working for nothing
but cigarette-lighters!

пыхтел
и визжал
из-за зажигалок.
А у кулаков
и масло и пышки.
Расчёт кулаков
простой и верненький —
запрячь хлеба
да зарой в кубышки
николаевки
да кéренки.
Мы знаем —
голод
сметает начисто,
тут нужен зажим,
а не ласковость воска,
и Ленин
встаёт
сражаться с кулачеством
и продотрядами
и продразвёрсткой.
Разве
в этакое время
слово «демократ»
набредёт
какой головке дурьей!!
Если бить,
так чтоб под ним
панель была мокра:
ключ побед —
в железной диктатуре.

★

Jail 'em,
hang 'em,
cut their heads off,
how else
could the workers earn grub,
poor blighters!
But the kulaks
had heaps of both butter and flour.
Kulaks,
they weren't no boobies;
hid and hoarded
till a fitter hour
their grain
and their greasy rubles.
Hunger
hits harder,
kills surer than bullets.
You need a steel grip here,
not cotton-wool lenience.
So Lenin sets out
to fight the kulaks[45]
by food requisition teams—
grim expedients.
How could the very notion
of democracy
at such a time enter
any fool's head!!
At 'em
and none of your mincing hypocrisy.
Only iron dictatorship
to victory led.

★

Мы победили,
но мы
в пробоинах:
машина стала,
обшивка —
лохмотья.
Валы обломков!
Лохмотьев обойных!
Идите залейте!
Возьмите и смойте!
Где порт!
Маяки
поломались в порту,
кренимся,
мачтами
волны крестя!
Нас опрокинет —
на правом борту
в сто миллионов
груз крестьян.
В восторге враги
заливаются воя,
но так
лишь Ильич умел и мог —
он вдруг
повернул
колесо рулевое
сразу
на двадцать румбов вбок.
И сразу тишь,
дивящая даже;

We've won,
but our ship's all dents and holes,
hull in splinters,
engines near end,
overhaul overdue
for floors,
ceilings,
walls.
Come,
hammer and rivet,
repair
and mend!
Where's port!—
all the beacons gone dead in the harbour.
We roll,
crossing
the waves
with our masts.
There's risk she'll keel over,
such cargo to starboard:
the 100 million
peasant class!
While enemies howled
with malicious glee
Lenin alone
kept his nerve:
turned her twenty points leeward
and she
swerved upright
and entered port at a curve.
And at once,
surprisingly,
no more gale;

подвозят
к пристани хлеб.
Обычные вывески
— купля —
— продажа —
— нэп.
Прищурился Ленин:
— Чинитесь пока чего,
аршину учись,
не научишься —
плох. —
Команду
усталую
берег покачивал.
Мы к буре привыкли,
что за подвох!
Залив
Ильичём
указан глубокий
и точка
смычки-причала
найдена,
и плавно
в мир,
строительству в доки,
вошла
Советских республик громадина.
И Ленин
сам
где железо,
где дерево

peasants cart bread
and at every step
the familiar ads:
WILL BUY—
FOR SALE—
—NEP![46]
Lenin winks:
we're in for repairs.
Get used to the yardstick—
nothing to fear.
The shore
rocks the crew,
weak with wear and fear:
"Whoah!
Where's the gale!
What's the big idea!"
Lenin
points out
a deep bay
free of rocks
with the piers
of co-operatives
looming
over it.
And smoothly
into construction's
docks
sailed
the colossal
country
of Soviets.
Lenin himself
heaves timber and iron

носил
чинить
пробитое место.
Стальными листами
вздымал
и примеривал
кооперативы,
лавки
и тресты.
И снова
становится
Ленин штурман,
огни по бортам,
впереди и сзади.
Теперь
от абордажей и штурма
мы
перейдём
к трудовой осаде.
Мы
отошли,
рассчитавши точно.
Кто разложился —
на берег
за вòрот.
Теперь вперёд!
Отступленье окончено.
РКП,
команду на борт!
Коммуна — столетия,
что десять лет для ней!

to patch up
the breaks and ruptures,
marks off and measures
with an all-seeing eye on
future co-ops,
shops,
and management structures.
Then again
he resumes
his post
on the bridge:
Lights on
in front,
at the sides
and back!
Since now,
systematic
everyday
siege
will replace
both storm raid
and surprise attack.
At first
we withdrew,
discreet and sober.
Anyone disgraced—
out without a word!
Now forward again—
the retreat is over.
R.C.P.—
crew aboard!
The Commune'll live centuries.
What's a decade for her!

Вперёд —
и в прошлом
скроется нэпчик.
Мы двинемся
во сто раз медленней,
зато
в миллион
прочней и крепче.
Вот этой
мелкобуржуазной стихии
ещё
колышется
мёртвая зыбь,
но, тихие
тучи
молнией выев,
уже —
нарастанье
всемирной грозы.
Враг
сменяет
врага поределого,
но будет —
над миром
зажжём небеса
— но это
уже
полезней проделывать,
чем
об этом писать. —
Теперь,
если пьёте
и если едите,

Forward,
and this quagmire or a NEP
will be past.

We'll move
and build
a hundred times slower
so a million times longer
our edifice may last.

The morass
of petty "private enterprise"
still tethers
the tempo
of our advance,
but through the gathering clouds
of the world-wide tempest
the first streaks of lightning
already glance.

Old enemies drop
and give place to new.

Yet wait—
the skies
over the world
we'll ignite.

But that
is surely
better
to do
than to write.

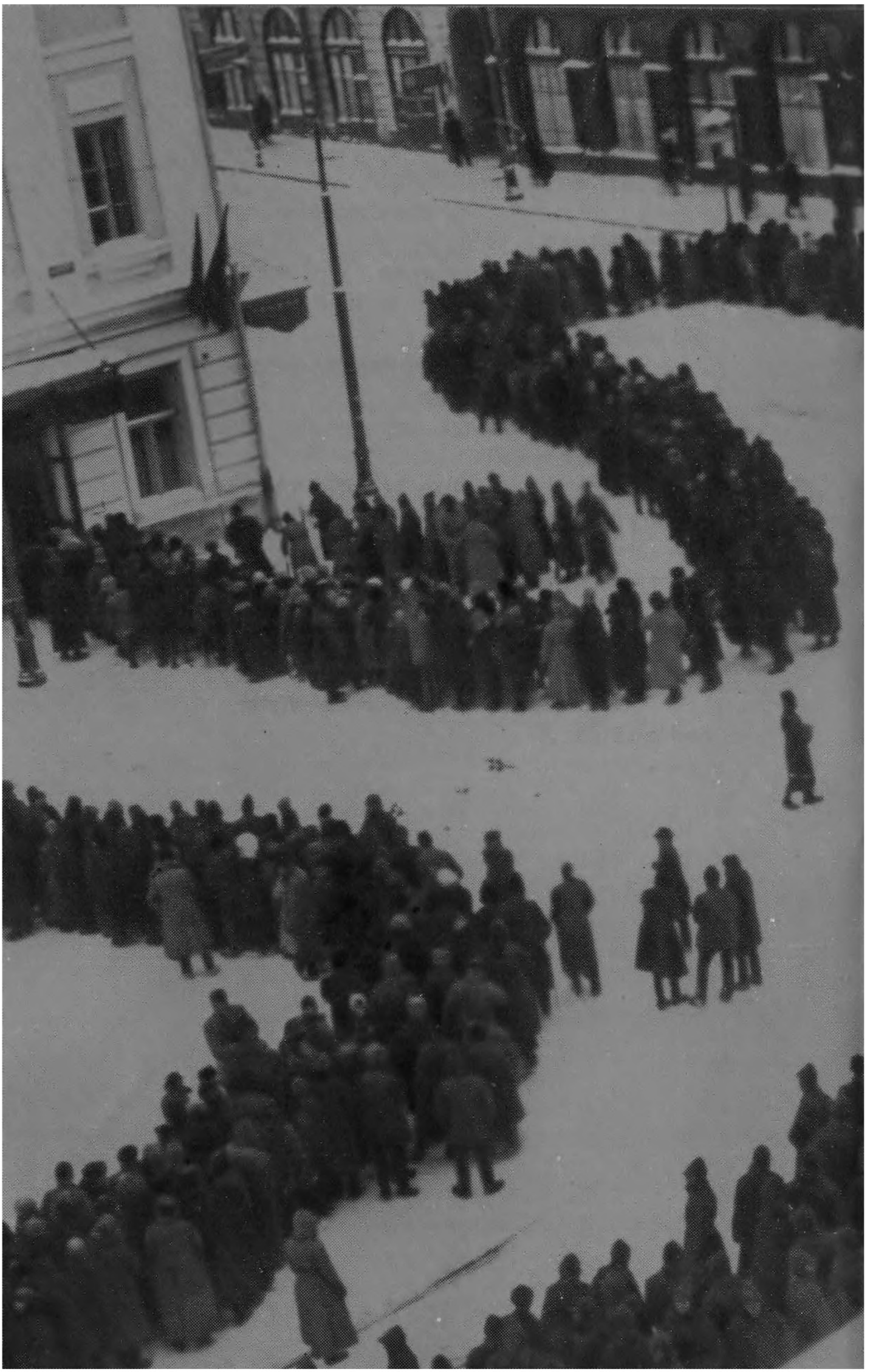
Today,
whether in the office of director

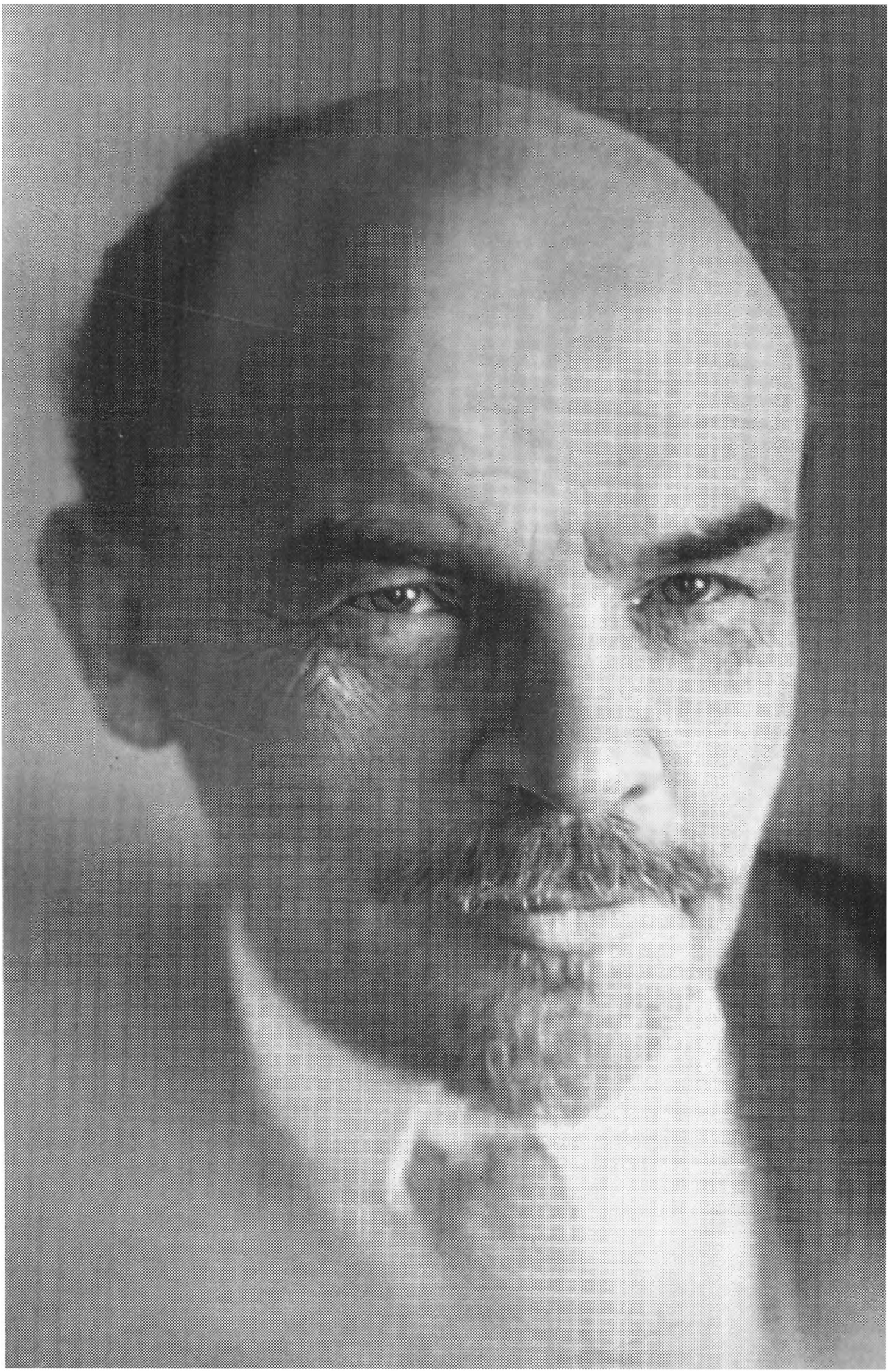
на общий завод ли
идём
с обеда,
мы знаем —
пролетариат — победитель,
и Ленин —
организатор победы.
От Коминтерна
до звонких копеек,
серпом и молотом
в новой меди,
одна
неписаная эпопея —
шагов Ильича
от победы к победе.
Революции —
тяжёлые вещи,
один не подымешь —
согнётся нога.
Но Ленин
меж равными
был первейший
по силе воли,
ума рычагам.
Подымаются страны
одна за одной —
рука Ильича
указывала верно:
народы —
чёрный,
белый
и цветной —

or running a lathe
at a public-owned factory,
we know—
the proletariat is victor
and Lenin
the architect of victory.
From the Comintern
to the hammer and sickle
on brand-new kopeks
shining in glory,
our achievements
and triumphs
double
and triple,
filling page after page
of Lenin's great story.
Revolutions
are the business of peoples;
for individuals
they're too heavy to wield,
yet Lenin
ranked foremost
among his equals
by his mind's momentum,
his will's firm steel.
Countries rise
one after the other,
fulfilling
his predictions
each in turn;
men of all races—
white
and coloured—

становятся
под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
непреклонные колонны –
буржуи
пяти частей света,
вежливо
приподымая
цилиндры и короны,
кланяются
Ильичёвой республике советов.
Нам
не страшно
усилие ничьё,
мчим
вперёд
паровозом труда...
и вдруг
стопудовая весть —
с Ильичём
удар.

rally
under the banner
of the Comintern.
The imperialists
and bourgeois
in their thinning crowds,
still pestering the world
and lording over it,
politely tip
their top hats and crowns
to Ilyich's brain-child—
the Republic of Soviets.
Fearing no effort
or artifice by the rich,
on speeds our engine
in curling smoke.
When suddenly—
the shattering news:
Ilyich
had a stroke....





ЕСЛИ БЫ
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозеи.
Ещё бы —
такое
не увидишь и в века!
Пятиконечные звёзды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.
Живьём,
по голову в землю,
закапывали нас банды
Мамонтова.
В паровозных топках
сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом,
отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм! —

IF
you exhibited
in a museum
a Bolshevik in tears,
all day
they'd flock in the museum
to see him.
Small wonder—
you won't see the like
in years.
With five-pointed stars
we were branded
by Polish voivodes.
Buried alive
neck-deep in the ground
by the bandits of Mamontov,[47]
burned up in engine fire-boxes
by Japanese marauders,
mouths plugged with molten tin,
riddled with bullets;
"Denounce it!" they bellowed,
but from
the hell-holes of burning gullets
"Long live Communism!"
was all that would come.

Кресло за креслом,
ряд в ряд
эта сталь,
железо это
вваливалось
двадцать второго января
в пятиэтажное здание
Съезда советов.
Усаживались,
кидались усмешкою,
решали
пòходя
мелочь дел.
Пора открывать!
Чего они мешкают!
Чего
президиум,
как вырубленный, поредел!
Отчего
глаза
краснее ложи!
Что с Калининым!
Держится еле.
Несчастье!
Какое!
Быть не может!
А если с ним!
Нет!
Неужели!
Потолок
на нас
пошёл снижаться вороном.

Row
after row,
in its might unreckoned,
this iron,
this steel,
the recess not over yet,
crowded
on January
the twenty-second
the five-storey building
of the Congress of Soviets.
Down they settled,
joking
and grinning,
affairs talked over
in business-like idiom.
"Time to start!
Why aren't they beginning!
Here,
what's that gap in the presidium!
Why are their eyes
red as box-stall plush!
Look at Kalinin[48]—
hardly keeps his feet.
Something happened!
Why can't they....
Hush!
What if it's him!
No, indeed...."
Raven-like,
the ceiling
swooped upon us,
lowering;

Опустили головы —
ещё нагни!
Задрожали вдруг
и стали чёрными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся
колокольчика ненужный щёлк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слёзы не сжуёшь
с усов и щёк.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
голову мнут.
Кровь в виски,
клокочет в вене:
— Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин! —

★

Этот год
видал,
чего не взвидят сто.
День
векам
войдёт
в тоскливое преданье.

down dropped heads,
bent floorward by their fears.
Of a sudden
ghastly,
blackly glowering
grew the swimming lights
of chandeliers.
Silence choked the bell's unneeded tinkle.
Up Kalinin struggled,
nerves on edge.
Tears—
go try and chew them
from moustache and wrinkle:
they betray him,
shining
on the beard's sharp wedge.
Veins ablaze—
no hope of quenching them;
thoughts confused—
like walls his head impenning;
"Yesterday
at 6.50 p.m.
died
Comrade Lenin."

★

That year
beheld a sight
that ages won't set eye on.
That day will keep
its tale of woe
forever throbbing.

Ужас
из железа
выжал стон.
По большевикам
прошло рыданье.
Тяжесть страшная!
Самих себя же
выволакивали
волоком.
Разузнать —
когда и как!
Чего таят!
В улицы
и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.
Радость
ползёт улиткой.
У горя
бешеный бег.
Ни солнца,
ни льдины слитка —
всё
сквозь газетное ситко
чёрный
засеял снег.
На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.
И как будто
слезы́ стакан

squeezed an anguished groan from iron.
The rows of Bolsheviks
were swept
with waves of sobbing.
What a weight!
Ourselves
we dragged out bodily.
"Get the details!
When and where!
Why do they hide it,
damn!"
Through the streets and lanes,
a white hearse modelling,
the Bolshoi Theatre swam.
Joy
crawls on like a snail.
Grief
will never go slow.
No sun shone.
No ice
gleamed pale.
All the world
from the newspapers' pail
was cold-showered
with coal-black snow.
On the worker
bent at his gears
the news pounced
and bullet-like
burned.
And it seemed
a cupful of tears

опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,
смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растёртая грязь.
Были люди — кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерьёзничались дети,
и, как дети,
плакали седобородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
восставшей
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатёночке Москвы
революции
и сына и отца.

on his instruments
overturned.
And the peasant,
weathered and wizened by life,
whom death
more than once
just missed,
swung round—
away from his wife,
but she saw it—
the dirt he smudged with his fist.
There were some—
no flint could be harder or colder,
yet they too
clenched their teeth,
lips awry.
Children
in a minute
grew graver and older,
and,
childlike,
the grey-bearded old would cry.
The wind
to all the earth
in sleepless anguish whined,
and she, the rebel,
couldn't stand up to the notion
that here,
in Moscow,
in a frosty room enshrined
lay he—
both son and father
of the Revolution.

Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло —
и видите под...
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица,
будто рана сквозная —
так болит
и стонет так.
Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.
Здесь
каждая башня
Ленина слышала,

The end,
the end,
the end....
All persuasion
useless!
Glass
and beneath—
the deceased.
It's him
they bear
from Paveletsky Station
through the city
that he
from the lords
released.
The street's like a wound
that'll worsen and worsen,
so the ache of it
cuts
and hacks.
Here every cobble
knew Lenin
in person
by the tramp
of the first October attacks.
Here every slogan
on banners embroidered
was thought out
and worded
by him.
Here every tower
his speeches
applauded,

за ним
пошла бы
в огонь и в дым.
Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердцá ему
ветками ёлок стели.
Он в битву вёл,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.
Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.
Он зѐмли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченным, снятся.
И коммунары
с-под площади Красной,
казалось,
шепчут:
— Любимый и милый!

would follow him
anywhere,
staunch and grim.
Here Lenin
was known
both in works and offices.
Spread hearts
like spruce-tree boughs
in his way!
He led,
he steeled
with his victory-prophecies,
and see—
proletarians
have taken sway.
Here every peasant
holds Lenin's name
dearer
than any
in the Bible cherished
for the land
that at Lenin's bidding became
his own—
a dream
for which grandsires
had fought
and perished.
And Communards
from their graves
in Red Square
seemed to be whispering
"Dear,
beloved,

Живи,
и не надо
судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
и ляжем в могилы! —
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят, —
плотина улиц
враспашку растворится,
и с песней
на смерть
ринутся люди.
Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб
и согнутые плечи.
Он был человек
до конца человечьего —
неси
и казнись
тоской человечьей.
Вовек
такого
бесценного груза
ещё
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому союзов

live,
and no need for a lot more fair.
We'd die ten times
for fulfilment of it."
Let the word
be pronounced
by a miracle-maker
for us to die
that he be awoken;
the street-streams would swell
and flood their embankments
and all
go to death
with a joy unspoken.
But there aren't any miracles.
Only Lenin.
Lenin,
his coffin
and our bent shoulders.
This man was a human—
as human as anyone.
So just bear it—
the pain
that in humans smoulders.
Never
was there
a burden more precious
borne along
by oceans of people
than this red coffin
borne by processions
on the drooping shoulders
of marches and weeping.

на спинах рыданий и маршей.
Ещё
в караул
вставала в почётный
суровая гвардия
ленинской выправки,
а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.
В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но в эту
холодную,
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.
Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.

The Guard of Honour
had scarcely been formed
of heroes,
heirs
of his wisdom and strength,
when crowds,
impatient,
already swarmed
through all the neighbourhood's
breadth
and length.
Into a 1917 breadline
no hunger
could drive—
better eat tomorrow.
But into this bitter,
freezing,
dread line
kids,
invalids—
all
were driven by sorrow.
Alongside
village and town
were arrayed,
child and adult,
wrung
by their grief's insistence.
The world of labour
passed
in parade,
the living total
of Lenin's existence.

Жёлтое солнце,
косое и лаковое,
взойдёт,
лучами к подножью кидается.
Как будто
забитые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.
Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы меняя,
путая даты.
Как будто
не ночь
и не звёзды на ней,
а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.
Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.

Downcast,
the sunbeams
dropped through the trees,
slanting down
from the house-top slopes,
yellow
as whipped-into-meekness Chinese
bent with their sorrow,
lamenting their hopes.
Nights
swam in
on the shoulders
of days
muddling hours
and confusing dates
and it seemed,
not night
with its star-born rays,
but Negroes
were here
with their tears
from the States.
The frost,
unheard-of,
scorched one's feet,
yet days
were spent
in the tightening crush.
Nobody
even ventures
to beat
hands together to warm them—
hush!

Мороз хватает
и тащит,
как будто
пытает,
насколько в любви закалённые.
Врывается в толпы.
В давку запутан,
вступает
вместе с толпой за колонны.
Ступени растут,
разрастаются в риф.
Но вот
затихает
дыханье и пенье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв –
бездонный обрыв
в четыре ступени.
Обрыв
от рабства в сто поколений,
где знают
лишь золота звонкий резон.
Обрыв
и край —
это гроб и Ленин,
а дальше —
коммуна
во весь горизонт.
Что увидишь!!
Только лоб его лишь,
и Надежда Константиновна
в тумане
за...

The frost grips fast and tortures,
as if
trying how tough
the love-tempered will is,
cuts into mobs,
and, stifling, stiff,
sneaks in
with the crowds
behind the pillars.
The steps expand,
grow up into a reef.
Silence.
Breathing and sighing stop:
how pass it,
fearful beyond belief,
that dismal,
abysmal
four-step drop?
That drop
from the logic of farthing and penny,
from ages
of thraldom to His Majesty Gold;
that drop
with its brink—
the coffin
and Lenin
and beyond—
the Commune
in its glory unrolled.
Lenin's forehead
was all you saw
and Nadezhda Konstantinovna[49]
in a haze...

Может быть,
в глаза без слёз
увидеть можно больше.
Не в такие
я
смотрел глаза.
Знамён
плывущих
склоняется шёлк
последней
почестью отданной:
«Прощай же, товарищ,
ты честно прошёл
свой доблестный путь, благородный».
Страх.
Закрой глаза
и не гляди —
как будто
идёшь
по проволоке про́вода.
Как будто
минуту
один на один
остался
с огромной
единственной правдой.

★

Я счастлив.
Звенящего марша вода
относит
тело моё невесомое.

Maybe eyes less full of tears
could show me more.
It's through clearer eyes
I've looked on gladder days.
The floating banners
bend
in his last
honours,
and, silken, sway.
"Farewell to you,
comrade,
who have passed
from a noble life
away. . . ."
Horror!
Shut your eyes
and blindfold pace
the infinity
of tight-rope grief.
As if
for a minute
left face to face
with the only
truth
worth belief.

★

What joy!
My body,
light as a feather,
drifts
in the march-tune's resonant stream.

Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слёзы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знамённые
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бой —
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и вёками алея,
на последнее
прощанье с Ильичём
шли
и медлили у мавзолея.

I know
for sure—
from now and forever
the light of this minute
in me will gleam.
What a joy it is
to be part of this union,
even tears from the eyes
to be shared en masse,
in this—
the purest,
most potent communion
with that glorious feeling
whose name is Class.
The banner-wings
droop
one after another,
in tomorrow's battles
again to rise;
"We ourselves,
dear brother,
closed
your eagle-eyes. . . ."
Shoulder to shoulder—
not to fall!
Flags blackened,
eyes reddening,
tears agleam,
for the last farewell with Lenin
came all,
slowing
down
at the Mausoleum.

Выполняют церемониал.
Говорили речи.
Говорят — и ладно.

Горе вот,
что срок минуты
мал —
разве
весь
охватишь ненаглядный!

Пройдут
и наверх
смотрят с опаской,
на чёрный,
посыпанный снегом кружок.

Как бешено
скачут
стрелки на Спасской.

В минуту —
к последней четвёрке прыжок.

Замрите
минуту
от этой вести!

Остановись,
движенье и жизнь!

Поднявшие молот,
стыньте на месте.

Земля, замри,
ложись и лежи!
Безмолвие.
Путь величайший окончен.

On went the funeral ceremonial.
Speeches flowed.
Ay, speaking's all right;
the tragedy is
there's a minute only—
how embrace him
at one insatiable sight!
Out they file
and with dread in their glance
look up
at the glowering,
snow-pocked disk:
how madly
the clockhands on Spasskaya[50] dance!
A minute—
and past the last quarter
they whisk!
Stop
at this news,
mankind,
and grow dumb.
Life,
movement,
breathing—
cease.
You,
with hammer uplifted,
be numb.
Earth,
lie low
and, motionless, freeze.
Silence.
The end of the greatest of fighters.

Стреляли из пушки,
а может, из тыщи.
И эта
пальба
казалась не громче,
чем мелочь,
в кармане бренчащая —
в нищем.
До боли
раскрыв
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.
Встаёт
предо мной
у знамён в озарении
тёмный
земной
неподвижный шар.
Над миром гроб,
неподвижен и нем.
У гроба —
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня, видели.

★

Cannon fired.
A thousand, perhaps.
Yet all that cannonade
sounded quieter
than pennies
jingling in beggars' caps.
Straining,
paining
each puny iris
I stand,
half-frozen,
with
bated breath.
In the gleaming of banners
before me arises
darkling,
the globe,
as still as death.
And on it—
this coffin
mourned by mankind,
with us,
mankind's representatives,
round it,
in a tempest of deeds and uprisings destined
to build up
and complete
all this day has founded.

★

Но вот
издалёка,
оттуда,
из алого
в мороз,
в караул умолкнувший наш,
чей-то голос —
как будто Муралова –
«Шагом марш».
Этого приказа
и не нужно даже —
реже,
ровнее,
твёрже дыша,
с трудом
отрывая
тело-тяжесть,
с площади
вниз
вбиваем шаг.
Каждое знамя
твёрдыми руками
вновь
над головою
взвито ввысь.
Топота потоп,
сила кругами,
ширясь,
расходится
миру в мысль.
Общая мысль
воедино созвеньена

But now,
from the bowing banners'
red arch
comes the voice of Muralov[51]:
"Forward
march!"
The command's so apt
it needn't be given:
our breathing firmer,
even
and rare,
leaden bodies with effort
driven,
we hammer
our footsteps down
from the square.
Each of the banners
above our heads
in steadying hands
soars up
as it ought.
From our marching ranks
the energy
spreads
in circles,
carrying through the world
one thought;
one thought
from a common anxiety
stemming

рабочих,
крестьян
и солдат-рубак:
— Трудно
будет
республике без Ленина.
Надо заменить его —
кем!
И как!
Довольно
валяться
на перине клоповой!
Товарищ секретарь!
На́ тебе —
вот —
просим приписать
к ячейке еркаповой
сразу,
коллективно,
весь завод... —
Смотрят
буржуи,
глазки раскоряча,
дрожат
от топота крепких ног.
Четыреста тысяч
от станка
горячих —
Ленину
первый
партийный венок.
— Товарищ секретарь,
бери ручку...

burns
in the army,
at the lathe,
at the plough:
it'll be hard for the Republic
without Lenin.
He's got to be replaced,
but by whom
and how!
"Enough of dozing
on bug-ridden mattresses!
Comrade secretary,
here's
our application:
put down
the whole of the factory
on the membership list
of the Party organisation."
Cold sweat
comes oozing
from bourgeois flesh
as they watch on,
grinding
their teeth.
400,000
from the workbench
fresh—
could the Party
bring Lenin
a welcomer
wreath!
"Comrade secretary,
where's your pen!

Говорят — заменим...
Надо, мол...
Я уже стар —
берите внучика,
не отстаёт —
подай комсомол. —

★

Подшефный флот,
подымай якоря,
в море
пора
подводным кротам.
«По морям,
по морям,
нынче здесь,
завтра там».
Выше, солнце!
Будешь свидетель —
скорей
разглаживай траур у рта.
В ногу
взрослым
вступают дети —
тра́-та-та-та́-та
та́-та-та-та́.
«Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,
пойдём на штыки».

Replace means replace—
why squander words!
If you think I'm too old,
here's my grandson then;
Y.C.L.-er,
one of the early birds!"

★

Ahoy,
my Navy,
get into motion!
Off on your missions,
submarine moles!

"Over sea
and over ocean
travel sailors,
merry souls!"

Hi there, Sun,
come and be witness!
Hurry on,
smooth out the wrinkles of mourning.
In line with parents,
children show their fitness—

Tra-ta-ta-ta-aa-aa!
sing their bugles in the morning.

"One-Two-Three,
Pioneers are we:
We aren't afraid of fascists—
Let them come and see!"

Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не сметь!
Стала
величайшим
коммунистом-организатором
даже
сама
Ильичёва смерть.
Уже
над трубами
чудовищной рощи,
руки
миллионов
сложив в древко,
красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздымается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин:
— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!

In vain
old Europe
snarls like a cur.
"Back!"
we warn her,
"better be wiser!"
Lenin's
very death
has turned
into the greatest
communist-organiser!
Over the world-wide forest
of factory
stacks
like a giant banner
the huge
Red Square,
millions
of hands
welded into its staff,
soars
with a mighty sweep
into the air.
And from that banner,
from every fold
Lenin,
alive as ever,
cries:
Workers,
prepare
for the last assault!
Slaves,
unbend your knees and spines!

Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

1924

Proletarian army,
rise in force!
Long live
the Revolution
with speedy victory,
the greatest
and justest
of all the wars
ever
fought
in history!

1924

NOTES

[1] Felix Edmundovich Dzerzhinsky—then People's Commissar of Internal Affairs, staunch follower of Lenin. p. 19

[2] Historical public building in the centre of Moscow where Lenin lay in state in January 1924. p. 25

[3] Foreign-owned engineering works in old Russia; after the revolution they were nationalised, renamed and considerably expanded. p. 29

[4] Yeliseyev—big food-dealer with huge shops in Russia's principal cities. p. 31

[5] Ivanovo-Voznesensk—big textile centre, scene of mass strikes and revolutionary upheavals for many years. p. 37

[6] Stepan Razin—leader of a peasant uprising in the 17th century. p. 37

[7] The French Prime Minister Thiers and General Galliffet headed the operations against the Paris Commune of 1871. p. 61

[8] Père Lachaise—Paris cemetery where Communards were buried. p. 61

[9] Alexander Ulyanov, Lenin's elder brother, a member of the Narodnaya Volya revolutionary society, was arrested

on the eve of an attempt to assassinate the tsar, and executed, after court martial, at the Shlisselburg Fortress, place of execution of many Russian revolutionaries. p. 75

[10] Name of earliest Marxist workers' organisation in Russia, embryo of the Communist Party. p. 81

[11] Highway by which political convicts were driven from Moscow to Siberia. p. 81

[12] S.R.s—Socialist-Revolutionary Party, a petty-bourgeois organisation preaching individual terror; after the October Revolution it degenerated into a gang of plotters opposing Soviet power. p. 85

[13] Russian Communist Party (Bolsheviks)—name used from 1918 to 1925. p. 87

[14] On January 9, 1905, the gendarmes, killing hundreds, scattered a peaceful manifestation carrying a petition to the tsar. The priest Gapon, its leader, had organised a whole system of police-sponsored workers' circles, spreading the belief that the tsar was unaware of their miserable conditions. p. 95

[15] Mukden, Tsushima—sites of land and naval battles in the Russo-Japanese War (1904-05), where tsarism sustained military defeat from the Japanese; one of the main events that set off the revolution of 1905, disclosing the decay of the regime. p. 95

[16] Presnya—industrial district in Moscow where first street-fighting began in 1905. p. 95

[17] On October 17, 1905, the tsar issued a manifesto promising certain civil rights—a subterfuge aimed at allaying popular indignation. p. 97

[18] Admiral Dubasov—governor-general of St. Petersburg, headed operations against the insurgent workers. p. 97

[19] Cheka—Extraordinary Commission headed by Dzerzhinsky, crushed counter-revolutionary plots in the first years of Soviet power. p. 99

[20] Some of the intellectuals earlier supporting the revolutionary cause lost heart after the defeat of the revolution and abandoned the militant principles of the movement, indulging in "God-seeking", i.e., religious mysticism. p. 99

[21] Georgi Plekhanov—prominent Marxist scholar and theoretician, who in 1905 drifted to the right and broke with Lenin; founded the opportunist Menshevik faction in Russian Social-Democracy. p. 99

[22] Poltava (Ukraine, 1709) and Plevna (Bulgaria, 1877)—cities near which big historic battles were won by Russian forces. p. 103

[23] The international socialist conference held in Zimmerwald (Switzerland, 1915) took a resolute stand against the imperialist war. p. 105

[24] Dynastic name of German Kaiser Wilhelm II. p. 113

[25] Nevsky Prospekt—central thoroughfare of Petrograd. p. 113

[26] Milyukov—minister in the Provisional Government, nicknamed Dardanelsky (derived from Dardanelles) for his part in war propaganda. In 1917 he was one of many who attempted, brutally, to curb mounting public discontent. p. 115

[27] Boris Savinkov—provocateur, one of the leaders of the S.R. Party; after the revolution headed several counter-revolutionary plots. p. 117

[28] Mensheviks—opportunist minority in the Russian Social-Democratic Labour Party. The Tell-Tale Cat—folklore cat that could speak and tell stories. p. 117

[29] Liteiny Prospekt—one of Petrograd's main streets. p. 117

[30] Kshesinskaya—prima ballerina of the Mariinsky Theatre, the tsar's favourite whose palace, a present from the tsar, was taken over by the revolutionary masses. p. 121

[31] On July 3-4, 1917, Petrograd workers, soldiers and sailors held a peaceful demonstration demanding complete transfer of power to the Soviets. It was dispersed by gunfire at the orders of the Provisional Government. p. 123

[32] Kerensky, A. F.—Socialist-Revolutionary; from July 1917 headed the bourgeois Provisional Government. In August 1917 Premier Kerensky ordered Lenin's arrest, secretly planning his murder. p. 123

[33] Zinoviev, G. Y.—joined the Russian Social-Democratic movement in 1901. After the Second Congress of the R.S.D.L.P. (1903) Zinoviev joined the Bolsheviks. After the revolution, one of the organisers of the anti-Party Trotsky-Zinoviev bloc. In 1934 was expelled from the Party for his anti-Party activities. p. 123

[34] Smolny—historic building accommodating the Petrograd (now Leningrad) Soviet; headquarters of the October uprising. p. 129

[35] Trotsky, L. D.—headed the Centrist trend in Russian Social-Democracy. On the eve of the October Revolution joined the Bolshevik Party. After the October Revolution occupied a number of leading posts; was member of the Political Bureau of the Party Central Committee and of the Executive Committee of the Comintern. In the 1920s headed the opposition elements fighting against the general Party line, against the Leninist programme of socialist construction. In 1927 Trotsky was expelled from the Party and in 1929 was banished from the country for anti-Soviet activities and deprived of Soviet citizenship. p. 131

[36] "Aurora"—famous battleship whose salvo signalled the beginning of the revolution. p. 131

[37] Dukhonin and Kornilov—white generals, Guchkov—Minister in the bourgeois Provisional Government; leaders of the planned coup aimed at preventing the imminent revolution. p. 137

[38] Decrees on Peace and Land and Decision on the Formation of a Workers' and Peasants' Government—the first to be issued by the revolutionary authorities. p. 137

[39] The young Soviet Government was forced to sign the unequitable Brest Treaty with the Germans, which lasted only until November 1918, when the revolution in Germany overthrew the Kaiser. p. 143

[40] Cartoons of the Civil War depicted imperialism as a many-headed monster out to devour the Soviet Republic. p. 143

[41, 42, 43] General Denikin headed the first whiteguard onslaught from the South; soon after his defeat, Baron Wrangel entered the Ukrainian steppes from the Crimea. Admiral Kolchak led the white armies based in Siberia. With equipment and financial backing from abroad, they successively and simultaneously attempted to smother the Soviet Republic, the results of which are known. p. 145

[44] Allusion to an attempt on Lenin's life by the S.R. terrorist Kaplan who chose the moment when Lenin was leaving a workers' rally at the Michelson engineering works in Moscow, August 1918. p. 147

[45] Kulaks—wealthy peasants exploiting hired labour; during the Civil War famine they hoarded grain, concealing it from the Soviet authorities and aggravating the situation. p. 149

[46] Abbreviation for the New Economic Policy proclaimed by Lenin, envisaging temporary permission of free private commerce, proposed to help the economy recuperate; the key position in the economy were retained by the proletarian state. p. 153

[47] Mamontov—whiteguard general, notorious for his brutality. p. 165

[48] Mikhail Ivanovich Kalinin—one of the oldest followers of Lenin; Chairman of the All-Russia Central Executive Committee and later of the Presidium of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. p. 167

[49] Nadezhda Konstantinovna Krupskaya—Lenin's wife, staunch Bolshevik. p. 185

[50] Spasskaya—Kremlin clock-tower. p. 191

[51] Muralov, N. I.—joined the Party in 1903. After the October Revolution, member of the Collegium of the People's Commissariat of Agriculture; commander of the Moscow Military District. In 1927 was expelled from the Party for his anti-Party activities. p. 195

REQUEST TO READERS

Progress Publishers would be glad to have your opinion of this book, its translation and design and any suggestions you may have for future publications.

Please send all your comments to 21, Zubovsky Boulevard, Moscow, U.S.S.R.

Translated from the Russian
by *Dorian Rottenberg*

Designed by *Y Kopylov*

First printing 1967. Second printing 1970

Printed in the Union of Soviet Socialist Republics

В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин

На английском и русском языках

Перевод сделан по книге:
В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин.
Гослитиздат 1966 г.

Художник **Ю. Копылов**
Художественный редактор **В. Пушкарева**
Технический редактор **А. Фирсова**

Подписано к печати 26/II 1970 г. Формат 72×90$^{1}/_{32}$. Бум. л. 3$^{5}/_{16}$. Печ. л. 8,31 (в т/ч. вкл.) Уч.-изд. л. 9,32. Изд. № 11936. Заказ 1924. Цена 1 р. 10 к. Тираж 10000. Издательство «Прогресс» Комитета по печати при Совете Министров СССР, Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21. Московская типография № 7 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, пер. Аксакова, 13

"Never have I wanted to be understood so much as in this poem. It is probably the most serious piece of work I have ever done."

Written in 1924, **Vladimir Ilyich Lenin** crowned a long period of preparatory work on this theme. The poet was fortunate to see and hear Lenin on a number of occasions. During the October days of 1917 he saw Lenin in Smolny, the headquarters of the uprising. Later he heard several speeches by the founder of the Soviet state.

Mayakovsky not only strove with the utmost fidelity to depict Lenin as an historic figure. In his own words, he "wrote the poem remaining a poet". In Lenin's life and activity he sought solutions to issues that engaged him all his life: man, his destination, his place in the world, his happiness, his struggle and triumph over the tragic in life.

He was a human—
as human as anyone....

Mayakovsky gave numerous recitals of his poem both at home and abroad. "The workers' response was heartening, reassuring me in the belief that the poem was needed" (V. Mayakovsky, **I Myself**). "The splendid, powerful poem on Lenin's death made an enormous impression on listeners" (**Daily Worker**, London, 1925).

Progress Publishers are putting out the poem in a new translation by the Moscow poet Dorian Rottenberg, already known to English readers by his rendering of Mayakovsky's **Selected Poetry**, printed in 1960.